

# Обратная сила. Том 1. 1842-1919

**Автор:**

Александра Маринина

Обратная сила. Том 1. 1842-1919

Александра Маринина

Обратная сила #1

Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь идет о людях, до конца преданных своему делу.

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в приступах душевных болезней, а две трети приходятся на все остальные причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, несчастная любовь».

Из защитительной речи В. Д. Спасовича

Александра Маринина

Обратная сила. Том 1. 1842-1919

© Алексеева М. А., 2016

© ООО «Издательство «Э», 2016

\* \* \*

Не судите его по мерке ваших чувств, не требуйте от него вашей рассудительности... Да и вообще ведайте, что неодинаково бьется и чувствует сердце людское: в каждом есть свои счастливые и несчастливые особенности.

Из защитительной речи С. А. Андреевского на судебном процессе по делу Иванов

Дар чтения в чужой душе принадлежит немногим, да и те немногие ошибаются.

Из защитительной речи С. А. Андреевского на судебном процессе по делу Миронович

Часть первая

Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в приступах душевных болезней, а две трети приходится на все остальные причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, несчастная любовь.

Из защитительной речи В. Д. Спасовича в судебном процессе по делу Островлевой

Глава 1

1842 год, апрель

– Вы уж, ваше сиятельство, матушка-барыня Аполлинария Феоктистовна, решите дело как-нибудь, а то боязно дворовым, ответственность-то какая, ежели что случится... – умоляюще бормотал Никитенко, сутуловатый невысокий, но энергичный управляющий имением Вершинское – родовым поместьем князей Гнедичей, расположенным неподалеку от Калуги.

– Иди, голубчик, иди, – махнула рукой Аполлинария Феоктистовна, – возвращайся с Богом в Вершинское. Скоро князь Николай Павлович вернется из-за границы, и мы все решим. Ты уж потерпи там как-нибудь.

«Ишь, как волнуется, – заметила про себя Аполлинария Феоктистовна, увидев, что косой ворот рубашки, виднеющийся из-под распахнутого армяка, намек от пота, хотя в доме было довольно прохладно. – Взопрел весь».

– Так что ж терпеть-то, – продолжал бормотать управляющий, пятясь задом к дверям гостиной, – нам-то что, наше дело – за крестьянами следить, за работами, урожай чтобы... Продать выгодно или там на ярмарку обоз снарядить, постройки в порядке содержать... Такое наше дело... А только ежели что – мы же и виноваты окажемся, и первый спрос – с меня, как я есть управляющий...

«Боится, что выгоню, – с недоброй усмешкой подумала княгиня, глядя на закрывающуюся дверь, – не наворовался еще. Не все успел украсть, что можно. Ах, беда, беда... Да не то беда, что управляющий вор, других-то и в помине нет, порода такая. У всех моих знакомых управляющие воруют. А вот с Григорием и вправду беда. Не зря шельма Никитенко заволновался. Три письма мне написал, а теперь уж и сам явился из Вершинского, указания получить хотел, чтобы с себя ответственность сложить. А какие тут указания дашь? Глаз с молодого барина не спускать? Ходить за ним повсюду? Так не осмелится никто. Да и надежды ни на кого нет, самые толковые да преданные здесь, в Москве, с нами...»

В свои сорок девять лет княгиня Гнедич была тучной и не вполне здоровой телом, но жесткой, решительной и сильной духом. Супруг ее, князь Николай Павлович, сделал блестящую карьеру по Иностранному ведомству и вот уже пять лет нес государеву службу в Швеции. В одном из последних писем князь Гнедич сообщил, что срок его служения Императорскому двору в миссии при дворе короля Швеции в скором времени закончится и уже через два месяца он вернется в Санкт-Петербург с отчетами, а потом и в Москву приедет, чтобы обнять наконец свое дорогое семейство: супругу Аполлинарию Феоктистовну,

сыновей Григория и Павла и ненаглядную дочь Вареньку. О том, что старший сын, Григорий, подал в отставку и вышел из полка, князь, разумеется, знал, но вот то, чем эта отставка обернулась, от почтенного дипломата тщательно скрывали. Причина отставки выглядела вполне уважительно: отсутствие средств, необходимых для достойного несения службы в элитном полку Императорской армии, ибо «достойное несение» подразумевало отнюдь не малые траты со стороны самих офицеров. Конечно, того, что давало имение, после всех вычетов, сделанных управляющим в пользу собственного кармана, могло бы показаться достаточным, чтобы в лучших полках могли служить оба сына Гнедичей, однако Аполлинария Феокистовна рассудила иначе. Была она большой любительницей вести светский образ жизни, имения в Вершинском чуралась, к природе была равнодушна, а вот блеск московских балов, званых обедов, приемов, торжеств, беспрестанная череда визитов, частые поездки в Петербург и связанные с этим бесконечные дела с модистками привлекали княгиню чрезвычайно. Жить в Москве – дорого, это всем известно, хотя и не так накладно, как в Петербурге. Вести в Первопрестольной роскошную и бурную жизнь – еще дороже. Сокращение трат неминуемо означало и уменьшение числа даваемых обедов и приемов, и сокращение своего пребывания на светских мероприятиях. Разве можно явиться на званый обед в надетом платье? Это никак не возможно. Это позор и осуждение в свете. Стало быть, к каждому мероприятию должно шиться новое. Коль ужиматься в расходах – значит, и платья новые не заказывать, и в свете не появляться. На это княгиня Гнедич пойти не могла.

«Поймите меня, друг мой, Николай Павлович, – писала она мужу в Стокгольм, – Варенька теперь невеста, и для приискания подходящей партии нам необходимо возвращаться в свете, дабы и свою репутацию укрепить, и достойного жениха сыскать. Вдобавок Павел, уже и без того принесший жертву тем, что добровольно отказался от служения Императору и Отечеству в полку, дабы не вводить семью в дополнительные расходы, успешно и старательно ведет свою карьеру на том месте, которое Вы ему определили перед своим отъездом в Швецию. Начальство в департаменте им весьма довольны, но светские связи и добрая репутация и ему не лишними будут, чтобы чинами не обошли. В доме нашем бывают самые уважаемые люди обеих столиц, и содержать его надобно достойно, что также весьма недешево. Если бы Господь был милостив к нам и Вы после возвращения из-за границы получили должность с предоставлением казенной квартиры в Петербурге, положение наше весьма выправилось бы. Однако до тех пор, пока мы живем в нашем московском доме, приходится тратиться на его содержание. Я задумала переделать свой будуар, поставить мебель, фанерованную розовым деревом, со вставками из золоченой бронзы и

расписного фарфора, а для Вашего кабинета надобно купить новую мебель из карельской березы, да и туалетную комнату Вареньки необходимо заново отделать, довольно ей в детской дни коротать, комната ее в мансарде тесна и не приличествует девице на выданье, а это все траты, траты, траты... Видите сами, мой дорогой друг, что денег на жизнь в Москве требуется все больше, и нам никак не возможно выделять князю Григорию должную сумму на достойное поддержание его службы...»

Князь Николай Павлович Гнедич принял решение супруги хотя и не без опасений, но в целом спокойно: армейская служба во времена императора Николая Первого действительно была весьма затратной и не столь уж редки были случаи, когда отпрыски известных и родовитых семейств покидали элитные полки именно из финансовых соображений, а те, кто не желал из-за нехватки денег расставаться с армией, переводились в полки попроще или в городские бригады, где офицерам тратиться приходилось мало, а возможности заработать, напротив, имелись. В императорских же полках возможность пополнить и оживить собственный бюджет имелась в основном у командиров и у ремонтеров, то есть тех, кому доверяли заниматься закупкой полковых лошадей, однако для того, чтобы получить эту сулящую немалые выгоды должность, следовало стать любимчиком все того же командира полка.

За два года, прошедшие после выхода Григория Гнедича в отставку, молодой князь успел стать зримой угрозой для репутации семьи и, в конечном итоге, для ее благополучия. Наделавший карточных долгов во время службы, соблазвивший не меньше дюжины добропорядочных девиц-мещанок, сбежавший от разгневанных кредиторов – отцов тех девиц, – Григорий Николаевич и в Москве тихой благопристойной жизнью себя не обременял. Правда, кутежи, карты и кокотки требовали денег, и в этом вопросе у Аполлинии Феоктистовны нашлись определенные аргументы: уплатив в течение года немалые суммы по нескольким векселям старшего сына, которому давали в долг охотно и с полным доверием, она сказала Григорию:

– У вас, сударь мой, есть выбор. Я могу написать вашему отцу о ваших выходках. Вы – первенец, старший сын, и, вероятно, имеете в расчете, что львиная доля наследства причитается именно вам. Мне легко будет устроить так, что все эти ваши расчеты пойдут прахом. Но вы можете уехать в наше имение Вершинское. Войдите в суть дела, изучите отчетность, возьмите под неустанное наблюдение управляющего. Каждый год нам на поддержание требуется... – Княгиня назвала сумму, заставившую Григория побледнеть. – Все сверх этого – ваше, можете

распоряжаться и пользоваться. Как накопите достаточно – можете возвращаться в Москву и вести тот образ жизни, который вам желанен. Может быть, вы даже сумеете найти себе в сельской глуши приличную невесту, дочь какого-нибудь тамошнего помещика, за которой дадут хорошее приданое. Выбор за вами. Но ни одного вашего векселя я отныне больше не оплачу. И если вас отправят в долговую тюрьму, мое сердце не дрогнет.

Лукавила княгиня, ох, лукавила! Разумеется, долговую тюрьму для своего сына она не допустила бы. И не потому, что сын, а потому что любимицу княжну Вареньку следовало хорошо выдать замуж, для чего требовалось свято блюсти репутацию семьи. А какая уж тут репутация, если старший сын – несостоятельный должник! Да и карьера мужа-дипломата могла пострадать, а ведь пока он при высоких чинах, ее, Аполлинару Гнедич, положение в свете – должное, соответствующее, к ней относятся с уважением и подобострастием, она всюду желанный гость, и приглашениями на ее обеды, вечера и приемы никому и в голову не придет пренебречь. О сыне Павле княгиня, как обычно, подумала в самую последнюю очередь, но все-таки и о нем не забыла: ему ведь тоже надо сделать правильную партию, впрочем, тут уж беспокоиться, кажется, не о чем, Павел и сам нашел себе невесту, так что дело можно считать улаженным.

Григорий Гнедич выбор свой сделал и убыл в Калужскую губернию, где провел уже целый год. В Москве за этот год он ни разу не показался и ни одного письма ни матери, ни брату, ни сестре не написал. Аполлинурия Феоктистовна успокоилась, сочтя, что угроза скандала миновала. Вывозила Вареньку в свет, на должном уровне проводила все званые мероприятия, отправляла мужу в Стокгольм исполненные оптимизма и уверенности письма.

И вот теперь приехал испуганный и встревоженный управляющий...

Аполлинурия Феоктистовна посмотрела на свои крупные, увитые толстыми венами кисти рук, сложенные на коленях, потом перевела взгляд на часы: скоро пять пополудни, время приема визитеров. Надо одеваться, негоже принимать визиты в том же платье-дульетке, в каком обычно дома ходит. Ах, кабы можно было весь день оставаться в любимом фуляровом капоте, украшенном валансьенскими кружевами! И красиво, и – главное! – просторно...

Взяв медный колокольчик за деревянную рукоятку, княгиня резко тряхнула его. Спустя несколько секунд появилась горничная Прасковья, служившая у

Гнедичей с малолетства, лет с пяти – при кухне, а с рождения княжны Варвары – уже при барыне. В горничные брали только незамужних девушек, но Прасковья заслужила такое доверие хозяйки, что осталась прислуживать ей и после того, как получила разрешение выйти замуж.

– Помоги встать, – велела княгиня, – одеваться пора. Что барышня, готова?

– Готова, ваше сиятельство. Барышня Варвара Николаевна оделись, вышивают у себя в комнате, ждут, когда ваше сиятельство ее сиятельство позовут. Какое платье прикажете подавать? – заботливо, но без малейшего намека на услужливость спрашивала Прасковья, осторожно ведя княгиню под руку в ее покои.

– То, зеленое, бархатное, что вчера от модистки принесли, готово ли? Его отутюжить нужно было.

– Отутюжили, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться. И кружево подшили, оторвалось маленько во время примерки. Так его подавать?

– Его, – вздохнула княгиня. – Будь она неладна, эта новая мода, уж такой рукав узкий у плеча, что и не втиснешься, а коли втиснешься, так пальцы распухают, перчатки не натянешь. Радуйся, Парашка, что в крепостных уродилась, у дворян-то жизнь ох как нелегка: все сплошь правила да правила. Попробуй-ка выйти к гостям в домашнем платье! Или два дня подряд ездить с визитами в одном и том же наряде! Весь свет тут же отвернется от тебя. А ты вон платье накинула, фартуком подвязалась – и ни забот, ни хлопот.

Рукава у платья и вправду были чрезвычайно узки, и надеть доставленный от модистки шедевр портновского искусства, сшитый в полном соответствии с картинкой из французского журнала, оказалось весьма непросто. Проворные пальцы опытной Прасковьи, одевавшей хозяйку все последние семнадцать лет, справились с многочисленными пуговицами, застежками и завязками ровно к тому моменту, как часы в гостиной пробили пять раз. Едва Аполлиария Феоктистовна успела войти в комнату, где предполагала вести прием визитеров, как вошедший слуга доложил, что приехала графиня Толстая. Сама графиня, энергичная изящная дама лет тридцати пяти, золотистым ароматным облаком ворвалась, шурша крахмальными нижними юбками, в гостиную Гнедичей и прямо с порога начала щебетать:

– Ах, какое очаровательное платье на вас, душенька Полли! У кого шили? У Буасселя?

– Ну что вы, дорогая моя, как можно! – Аполлинария Феоктистовна надменно поморщилась. – Только у Лебур. Я, знаете ли, привыкла доверять тем, кто давно своим делом занят. Ваше платье тоже прелестно, милая графиня!

– Благодарю, княгиня. Ах, если бы вы знали, сколько пришлось мучиться с этими оборками! Обычно я заказываю у Буасселя или у Анжелики Фабр, а это платье заказала у Аделаиды Менне, мне сказали, что у нее появилась чудо-швея, необыкновенная мастерица до тонкой работы. Я и понадеялась. Оказалось – напрасно. Вот эту деталь, – графиня Толстая указала концом веера на зигзагообразные, шоколадного цвета линии воланов, расположенные чуть ниже талии и красиво оттенявшие золотистый отлив бежевой тафты, из которой было сшито платье, – переделывали раз десять. До того бестолкова эта швея оказалась! Кончилось тем, что за дело принялась Матильда, дочь мадам Менне, у нее руки золотые, но она обшивает только самых уважаемых клиентов.

При последних словах глаза графини задорно блеснули: дескать, надо было сразу понять, кто таков заказчик, и отдать работу в руки самых достойных. Хозяйка гостиной бросила очередной взгляд на шляпку-кибитку, украшавшую голову гостя: поля слишком прямые, нет в очертаниях привычной мягкой женственности, да что же поделать, такова нынче мода, придется и ей, княгине, такие заказывать. Только не прогадать бы с шляпницей...

Аполлинария Феоктистовна собралась было поделиться своим мнением по вопросу о том, кому из модисток на Кузнецком мосту можно доверять, а с кем лучше дела не иметь, но гостя уже сменила тему:

– Душенька Полли, вы слыхали о Коковнице? Опять скандал!

– Разве он в Москве? – удивилась княгиня, бросая на графиню предостерегающий взгляд: мол, осторожнее, здесь молодая девица. – Когда же приехал?

Имение Коковницных находилось по соседству с Вершинским, городские же дома имелись и в Петербурге, и – более скромный, совсем маленький – в Москве. Холодные осенне-зимние месяцы семейство проводило в обеих столицах. В

отличие от Гнедичей, Коковницыны жили в имении охотно и подолгу, а бывая в Москве, непременно наносили визиты семье князя как добрые «соседи по деревне».

Молодой Петр Коковницын, двадцатитрехлетний драгун, не мог провести полагающийся ему отпуск без того, чтобы «не выкинуть фортель»: славящийся взрывным характером и бешеным темпераментом, он ухитрялся непременно с кем-нибудь громко повздорить, довести дело до оскорбления и тут же затевал дуэль. Не обладающий благородным чувством собственного достоинства, но зато чрезмерно наделенный спесью и высокомерием, он не гнушался публично унижать тех, кто не принадлежал к дворянскому сословию, чем вызывал гневное неодобрение аристократии и заслужил себе весьма дурную славу. Если бы допустимо было драться на дуэли с каждым, задиры-драгуна, вероятно, давно не было бы в живых. Однако правила дуэльного кодекса такой «демократии» не допускали, позволяя иметь противником только сословно равного.

– Приехал три дня назад, – рассказывала графиня Толстая, перейдя на возбужденный шепот и то и дело посматривая на сидящую поодаль Вареньку, опустившую глаза к рукоделью: не слышит ли?

Но лицо девушки было безмятежным и полностью сосредоточенным на иголке и нитке. То ли она прекрасно владела собой, то ли и впрямь не интересовалась предметом беседы. Гладко расчесанные на прямой пробор волосы длинными локонами спадали на плечи: Варенька Гнедич зачитывалась романами Диккенса и старалась выглядеть «на английский манер». Ее серое шелковое платье, украшенное только затейливыми бантами на корсаже и на талии, являлось образцом скромности и безыскусности.

– На следующий день, – продолжала графиня, – отправился к Заровским делать предложение, просил руки Оленьки, а вчера... Ах, душенька, вы даже представить себе не можете, что он сотворил! Оказывается, в прошлом году он ездил в Италию, там завел романчик с какой-то местной «камелией» и теперь послал своего друга с поручением привезти девицу сюда. И вчера она приехала! Петр поселил ее в доме на Пречистенке и вчера же вечером устроил громкий кутеж до самого утра с криками, песнями и танцами. Говорят, эта его «камелия» итальянская танцевала босиком на столе, между тарелками и бокалами.

– Ужасно, – сокрушенно закивала головой Аполлинария Феоктистовна, – какое несчастье для семьи, когда старший сын, надежда престарелых родителей,

ведет себя подобным образом! Какой дурной пример Петр подает своему брату Мишеньке, который совсем еще дитя! А что же граф Аристарх Васильевич? Никак не может обуздать нрав сына?

– Ах, Полли, дорогая, Аристарх Васильевич совсем слаб и телом, и душой, вы же помните, каким он был на рождественском балу у генерал-губернатора! Весь вечер слова не сказал и даже, кажется, с места не поднялся.

– Да, – задумчиво согласилась княгиня, – граф Коковницын теперь совсем старик, где ему с молодым горячим драгуном справиться... Воля уж не та, власть потеряна. Супруга его, конечно, добросердечна и мила, всегда готова поплакать над чужими горестями, это правда, но в строгие матери строптивому сыну никак не годится.

Новость о «выходке» молодого Коковницына дала пищу для обсуждения проблем воспитания детей – одной из излюбленных тем для светских дам в отсутствие мужчин. Второй по популярности темой был выбор женихов и невест, то есть «приискание партий» в среде тех, кто принадлежал к светскому обществу.

Через короткое время в гостиной появился следующий гость, прибывший с визитом, а к семи часам уже человек пять-шесть пили чай в доме Гнедичей. Варенька, как и полагается добропорядочной воспитанной девице, сидела здесь же с рукоделием и отвечала учтиво и с милой улыбкой, если к ней кто-то обращался, но сама ни с кем не заговаривала. С появлением в гостиной мужчин разговор, как и почти всегда, коснулся болезненного для любого россиянина «польского вопроса», и здесь уж можно было не стесняться молодой княжны – она все равно политикой не интересовалась, а недозволенных в приличном обществе пикантностей в «польском вопросе» и быть не могло. Княгиня умело и непринужденно вела общую беседу, стараясь, чтобы никто из присутствующих не скучал, при этом машинально отмечала, какие изменения нужно внести в список тех визитов на ближайшую неделю, которые придется наносить. Из пятерых гостей трое явились с ответным визитом, к ним ехать не нужно, а вот два человека пришли, чтобы засвидетельствовать почтение после возвращения из отъезда, и им визит следует непременно «отдать», причем чем скорее – тем лучше, откладывать нельзя, иначе такое промедление в свете могут счесть за нежелание поддерживать знакомство. Мнение света – это то, чем пренебрегать нельзя ни в коем случае. Как там у Пушкина? «Но дико светская вражда боится ложного стыда...»

Принимая визиты, Аполлинария Феоктистовна с удовольствием думала о том, что обновление и даже некоторая переделка гостиной сделали комнату намного более изысканной, соответствующей гордому княжескому титулу Гнедичей. Если прежде вся мебель здесь была в значительной степени случайной и в гостиной царило хаотическое смешение стилей, то теперь вся она выдержана в стиле жакоб – красное дерево с бронзой, а скамеечки для ног обиты той же тканью, что и диваны, кресла и стулья в каждой «группе», которых в гостиной насчитывалось целых три. Особую гордость княгини составляли жардиньерки с цветущими растениями. Эти жардиньерки разделяли собой группы столов и кресел, при этом каждая группа имела свой оттенок обивки, и цветы в жардиньерках также обладали соответствующим оттенком: розовым, лиловым или голубым. Но Бог мой, каких же затрат это все потребовало!

Когда на пороге гостиной появился Павел Гнедич в темно-зеленом мундире с шитьем в виде чередующихся дубовых и лавровых ветвей на воротнике – повседневной форменной одежде чиновника, служащего в Московском отделении архива Министерства иностранных дел, последние визитеры, едва взглянув на его бледное напряженное лицо, поспешили распрощаться. Молодой человек еле сумел выдавить из себя жалкое подобие любезной улыбки и с трудом произнес несколько приличествующих этикету слов. Едва за гостями закрылась дверь, он подошел к матери и взял ее за руку.

– Варенька, подойди сюда, – обратился он к сестре.

Девушка испуганно вскочила со стула и встала рядом с матерью. Аполлинария Феоктистовна тотчас поняла: случилось что-то ужасное. Если бы с Григорием – об этом сказал бы управляющий, а коль этот прохвост ничего не знает, то Павел никак не мог бы узнать раньше его. Если несчастье с невестой Павла, Лизанькой Шуваловой, то он не стал бы говорить в присутствии сестры. Значит, отец, князь Николай Павлович... Ну что ж, она, Аполлинария Гнедич, готова услышать горестную весть, у нее достанет духу выдержать удар судьбы с должным достоинством.

Так и оказалось.

– Матушка, сестрица, у меня дурные вести, – произнес Павел дрогнувшим голосом. – Наш отец... Сегодня пришло известие из Стокгольма... Внезапный удар... Тело уже отправлено в Москву для захоронения...

Варенька, в отличие от своей матери, к такому готова не была и зарыдала. Княгиня несколько минут успокаивала дочь, потом позвала прислугу, велела проводить барышню в ее комнаты, подать ей чаю и успокоительных капель и непременно кому-нибудь с ней побыть. Оставшись наедине с сыном, сказала:

– Что ж, сударь мой, мы с вами оказались без поддержки в нашей беде. Сегодня у меня был Никитенко, наш управляющий из Вершинского, много чего порассказал... Не стану утомлять вас подробностями, скажу одно: я рассчитывала, что Николай Павлович через месяц-другой будет здесь и сам примет все необходимые решения. Однако Господь распорядился, чтобы с сегодняшнего дня главой нашей семьи стали вы. Вы молоды, неопытны, вам всего двадцать два года. В иных обстоятельствах через несколько месяцев вы обвенчались бы с Лизанькой, если б здоровье ее матушки не потребовало длительного отъезда на воды, но через какое-то время Шуваловы вернутся, венчание состоится, и у вас будет своя семья. А старшей в семье Гнедичей по-прежнему буду я. Но до этого момента, до вашего вступления в брак, вам придется взять на себя ответственность за решение всего, что может повлиять на благополучие нашего дома. Вы готовы к этому, Павел Николаевич?

– Вероятно, как настоящий дворянин я должен был бы ответить: да, готов, полностью готов, – с горечью ответил Павел. – Но как человек честный и при этом разговаривающий с горячо любимой матушкой, лгать не стану.

– Это хорошо, что не лжете, – одобрительно кивнула Аполлинария Феоктистовна. – Ничего нет хорошего в том, чтобы брать на себя то, с чем заведомо не справишься, и ничего нет зазорного в том, чтобы со смирением и благодарностью принять руководство любящей матери. Мы теперь начнем готовиться к похоронам и последующему трауру. Поэтому завтра же вы отправитесь в Вершинское и привезете Григория сюда. И после похорон он останется в Москве.

– Зачем, матушка? – удивился Павел. – Ведь все начнется сначала. Вы же не думаете, что он исправился и вознамерился переменить свое поведение?

– Разумеется, нет, – горько усмехнулась княгиня. – Но возвращение старшего сына после смерти отца – это тот естественный ход вещей, который всеми одобряется. Если же старший сын приедет только на похороны и тут же вернется в имение, а главой семьи фактически станет младший сын, это даст

пищу для пересудов. Запомните, сударь мой: ради репутации в свете придется идти на жертвы. Я сегодня же напишу вашему начальству, его превосходительство всегда был хорош с Николаем Павловичем, он не откажет убитой горем вдове предоставить короткий отпуск ее сыну для подготовки к похоронам.

1842 год, декабрь

Услышав раздающиеся из гостиной оживленные голоса, Павел Гнедич закрыл книгу, сменил атласный, вышитый цветами халат на архалук в темную полоску и вышел из кабинета. Варенька и ее жених граф Владимир Раевский вернулись с катания на горках и теперь стояли перед камином, протянув руки к огню. Варенька, покрасневшая на морозе и оживленная, в отделанном мехом и вышивкой платье из серо-голубого люкзора выглядела необыкновенно хорошенькой, а двадцатисемилетний Владимир не скрывал своего счастливого настроения. В октябре закончился полугодовой срок глубокого траура по отцу, можно было начинать выезжать, и Раевские были одними из первых, кому Гнедичи отдали визит, ведь эта семья постоянно навещала скорбящих во время траура. Собственно, после первого же их появления с соблезнованиями и Аполлинаруи Феоктистовне, и Павлу стало очевидно, что молодой Раевский пылко влюбился в Вареньку, и участившиеся визиты графини с сыном только подтвердили это предположение. Когда же настал срок полутраура и стало возможно выезжать, помолвка казалась вопросом нескольких недель, если не дней. Так и случилось. Теперь Гнедичи и Раевские готовились к скорой свадьбе, и Владимир, на правах официального жениха, бывал у них ежедневно.

Павел поцеловал сестру и пожал руку будущему родственнику, которому искренне симпатизировал.

– Как маменька? – с тревогой спросила девушка. – Ей не лучше? Вставала?

– Выходила к обеду и снова ушла к себе, ей по-прежнему нездоровится, – ответил Павел.

Аполлинурия Феоктистовна со вчерашнего дня чувствовала себя плохо, жаловалась на сильную головную боль и онемение руки, вызванный к ней доктор поставил пиявки, что принесло некоторое облегчение, но и сегодня княгиня Гнедич еще была слаба.

Усадив невесту в кресло подле камина, Раевский тут же завел с Павлом разговор о денежной реформе, проводимой вот уже несколько лет министром финансов Канкриным. Вопрос для него был насущным, ведь семейству Раевских принадлежало несколько поместий, делами которых старались управлять наилучшим образом, вникая во все детали и мелочи и не пренебрегая резонами экономической науки. Следовало признать, что подобный подход приносил очень хорошие результаты, хотя и порождал в свете неоднозначное мнение о семье Раевских. Кто-то восхищался их деловой хваткой, а кто-то презрительно морщился, полагая, что дворянину не пристало думать о деньгах и считать, сколько у него вышло пудов зерна и стогов сена. В светском обществе приличным считалось изучать философию и литературу, а вовсе не экономическую науку.

Варенька, однако, не долго могла выдержать такой неинтересный для себя разговор.

– Поль, Вальдемар, фи! – Она капризно надула губы. – Как с вами скучно, право! Когда я выйду замуж, мне поневоле придется делить все эти тяготы с супругом, и я готова, но теперь-то я могу поговорить о чем-нибудь веселом? Будьте милосердны ко мне, господа, не так уж много времени осталось мне быть в девичестве!

Раевский тут же отвесил невесте шуточный поклон и поцеловал ей руку.

– Княжна, я к вашим услугам, – широко улыбнулся он. – Каких развлечений изволите?

– Давай петь. – Варенька направилась к стоящему в углу гостиной роялю. – Вальдемар, спойте тот дивный дуэт из Генделя. Вы мне обещали, что выучите его.

– Разумеется, Варвара Николаевна, – с готовностью отозвался граф.

Варенька открыла клавиатуру, уселась за рояль и несколько раз сжала и разжала кулачки.

– Руки так замерзли! Сейчас разогрею пальцы, и начнем.

Павел уже предвкушал удовольствие: Варенька хорошо играла на рояле и ему нравилось слушать, как она поет одна или дуэтом с Владимиром, обладавшим не сильным, но весьма приятным тенором. Князь направился к удобному креслу, в котором намеревался устроиться на время домашнего концерта, когда краем глаза заметил встревоженную физиономию лакея, выглядывавшего в гостиную из-за ширмы, стоящей во избежание сквозняков в дверном проеме, ведущем в танцевальную залу. Лакей Прохор делал барину какие-то суетливые знаки. Едва раздались первые бравурные звуки этюда, который Варенька играла для разминки и подготовки рук, Павел быстрыми тихими шагами вышел из залы.

- Что тебе? - строго спросил он Прохора.

- Ваше сиятельство, барин Павел Николаевич, там квартальный пришел, княгиню спрашивает, а тревожить-то их сиятельство не велено.

Павел нахмурился, сердце почуяло недоброе. Неужели опять с Григорием, старшим братом, беда случилась? Уж сколько раз так бывало...

- Что ему нужно?

- Не говорит. Дело, мол, секретное, только господам скажет. Отослать его? Он на крыльце ждет. Сказать, что не принимаете?

Павел оглянулся в ту сторону, откуда доносились звуки музыки. Сомнений нет, дело в Григории. Как ни следи за ним, а все равно найдет возможность выбраться из дома и что-нибудь натворить. Не нужно, чтобы Варя и ее жених знали, в чем дело.

- Подай шубу, - велел Гнедич. - Я сам выйду к нему.

Набросив на плечи котиковую шубу поверх архалука, Павел вышел на крыльцо, где топтался, пытаясь согреться, квартальный надзиратель Васюков. Увидев князя, Васюков весь подобрался и постарался принять вид важный и почтительный одновременно.

- Ваш-благородь, прощения просим за беспокойство!

– В чем дело? – осведомился Павел.

– Не извольте гневаться, ваш-благородь, а только их-благородь Григория Николаевича опять подобрали. Как с коляски сошел, так и рухнул прямо на мостовую, и лежит. Мы его в будку пока определили, она там рядом совсем, никто и не видал. Будочник его караулит, думали, пока светло-то – нехорошо его домой волочь, надо выждать, пока стемнеет. Так это вот... Вы уж сами распорядитесь, как нам дальше-то.

Квартальный надзиратель Васюков принадлежал как раз к тому небольшому числу людей, которым было прекрасно известно о тяжелых запоях и буйном нраве старшего сына Гнедичей. Щедрые финансовые подарки Аполлинаруи Феоктистовны сделали Васюкова верным помощником, умеющим хранить чужие секреты. Если бы мать разрешила Григорию брать экипаж, то ничего подобного сегодняшнему не происходило бы: экипаж въезжал бы в ворота и, даже если Григорий был бы в стельку пьян, этого не видел бы никто, кроме прислуги, кучера и дворника. Но именно из-за того, что Аполлинария Феоктистовна велела ни под каким предлогом не закладывать лошадей для старшего сына, если он соберется куда-либо один, без матери, брата или сестры, Григорий, если уж находил возможность удрать, возвращался на извозчике, причем сойти старался, не доезжая до собственных ворот, и заканчивалось это нередко именно так, как и сейчас.

Павел достал деньги, сунул в руку Васюкову.

– Спасибо, голубчик. Как стемнеет – пришлю Прохора с Афоней, сынком его, а ты будочнику вели, чтобы помог. Втроем дотащат.

– Рады стараться, ваш-бродь. – Квартальный попытался молодцевато щелкнуть каблуками, но вышло одно только неловкое движение закоченевших на морозе ног.

Павел стоял на крыльце, глядя вслед уходящему полицейскому, и прикидывал, как бы устроить так, чтобы не тревожить маменьку. Она и без того нездорова, а узнав, что вытворил Григорий, может совсем слечь. Надо бы побережь ее... Что ж, придется, видно, снова поместить старшего брата в холодный флигель, где его никто не увидит и где он проспится. Маменька почти не встает, так что и не узнает, что сына нет в его комнате.

Он вернулся в дом, позвал Прохора, доверенного и преданного крепостного, много лет прислуживавшего в доме Гнедичей.

– Проверь комнату во флигеле, – приказал князь. – Натопи там, а как стемнеет – возьми сына и идите в будку, что возле дома Трошина. Что делать – сам знаешь. Будочник вам поможет. И смотри, чтобы княгиня ни о чем не догадалась.

– Так знамо дело, – кивнул Прохор. – Не впервой. Не извольте беспокоиться, барин Павел Николаевич, все сделаем.

Раевский остался у Гнедичей на ужин, после чего откланялся, Варенька ушла к себе, а Павел вновь вернулся в кабинет, чтобы продолжить чтение книги генерал-майора Бутурлина о войнах России с Турцией в период царствования Екатерины Второй и Александра Первого. Забавно, что книга переведена с французского... Автор – русский офицер, история описывается российская, а вот поди ж ты – написано на французском.

Было уже совсем поздно, когда в кабинет вошла Прасковья, горничная Аполлинии Феоктистовны, в кружевной наkolке и в белоснежном фартуке с карманом поверх темного простого платья. Несмотря на наличие мужа и сына, она по-прежнему носила волосы заплетенными в длинную косу, как полагалось незамужним девушкам: таково было требование княгини.

– Ваше сиятельство, их сиятельство барыня просят пожаловать.

– Разве княгиня не спит еще? – удивился Павел. – Ведь за полночь.

Запахнув шлафор поплотнее и туго подпоясавшись кушаком с длинными кистями, он отправился на другую половину дома, где находились комнаты матери и сестры.

Спальня княгини со стенами, обитыми по последней моде французским ситцем с пасторальными сценами, напоминала новенькую шкатулку, в которую небрежно свалили старый хлам. Кровать под балдахином знавала, кажется, еще времена императора Павла, а вдоль стен стояли беспорядочно расставленные старые сундуки, покрытые коврами, вперемешку с витринами для драгоценностей и шифоньерами для белья. Все свободное пространство было заполнено оттоманкой, креслами и пуфами с изрядно потертой обивкой.

Аполлинария Феоктистовна лежала в постели, лицо ее было нездорово-красным и каким-то отечным.

– Что ж не заходишь? – недовольным голосом спросила она. – За весь вечер никто не заглянул, так и лежу тут одна.

– Маман, вы же сами не велели беспокоить. Вы и к ужину не вышли, стало быть, никого не хотите видеть. Никто и не осмелился нарушить ваш приказ.

– Да мало ли что я велела! Пусть я и велела, так что ж? Вы должны все равно приходить и обо всем мне докладывать. Или хоть о здоровье моем справляться.

Павел покорно склонил голову. Ничего нового, все это бывало уже не раз. Характер у Аполлинарии Феоктистовны трудный, это все знают, и нрав крутой.

– Мы беспокоимся, маменька, только тревожить вас не хотели.

– Ладно, – вздохнула княгиня. – Что в доме? Прасковья сказала, Раевский допоздна сидел.

– Он уехал в приличное время, маменька, беспокоиться не о чем.

– И ты с ними до конца был? – с вполне понятной материнской подозрительностью допрашивала она. – Одних не оставлял?

– Ни на минуту, маменька.

– А Григорий что? Не выходил? Никакого скандала в присутствии Раевского не случилось?

– Маменька, – улыбнулся Павел, – если б что и случилось, прислуга давно уж вам донесла бы. От вашего взора в доме ничто не укроется, это всем известно.

Он лукавил. Он лгал. Но ведь делал это из самых лучших побуждений.

– Ужин Григорию подали в его комнату, он прислал извинения, что не сможет присоединиться к нам, нездоров.

– Ишь как! – недобро усмехнулась княгиня. – Как мать захворала – так и он занедужил. Понятное дело, за общим столом, да еще в присутствии сестры и ее жениха, сильно-то не напьешься. А одному в комнате – милое дело: никто не видит, никто не указывает. Он, поди, боялся, что я тоже за стол сяду. Лакей его, Митька, таскает ему из трактира лакриму эту бутылками, знаю.

«Надо же, – подумал Павел, – маменька даже название итальянского вина «лакрима-кристи», которое Митька приносит, знает. Ничто от ее внимания не укроется».

– Ладно, Павел, ступай, устала я. Варе скажи, чтоб утром зашла ко мне. Если доживу до утра, – сварливым голосом добавила она.

Павел взял ее увитую толстыми венами руку, поднес к губам.

– Не гневите Бога, маменька, болезнь пройдет, и все станет, как прежде. Думайте о скорой свадьбе Вареньки, радуйтесь за нее.

– И то сказать, – согласилась мать неожиданно мирным тоном. – Ты прав. К слову, не было ли сегодня письма от Лизаньки?

– Письмо было третьего дня, я вам говорил.

– Третьего дня! И это все? – возмутилась княгиня. – Невеста должна писать жениху каждый день! Коль уже два дня нет писем, то это дурной знак.

– Маман, – твердо проговорил Павел, – для ваших сомнений нет ровно никаких оснований. Варенька выйдет замуж за графа Раевского, я обвенчаюсь с Лизой Шуваловой, как только здоровье ее матушки позволит им вернуться из-за границы. А вам нужно соблюдать душевное спокойствие, ни о чем не волноваться и поправляться. Вы позволите навестить вас завтра утром?

– Не надо, – ворчливо отозвалась Аполлинария Феоктистовна, – завтра пусть Варя придет, ты на службу рано уходишь, я еще спать буду. Иди с Богом.

Выйдя из покоев матери, Павел почувствовал неясное беспокойство. Надо бы проверить, как там Григорий...

- Прохор! - позвал он, оказавшись в передней.

Из лакейской высунулась заспанная физиономия.

- Тут я, барин. Чего изволите?

- Одевайся, возьми свечи, пойдем во флигель.

- Надобность какая или просто поглядеть-проведать?

- Проведать.

- Так это я и сам могу, зачем вам, ваше сиятельство, беспокоиться.

- Вместе пойдем, - решительно сказал Павел. - Ключ не забудь.

Прохор подал барину шубу и подсвечник-шандал с горящей свечой, сам накинул суконный зипун, взял другую свечу, и они направились через темный двор к стоящему наособицу двухэтажному флигелю, где хранилась всякая утварь для хозяйства, а во втором этаже была выделена комната для Григория на те случаи, когда держать его в доме становилось опасно. Для верности входную дверь флигеля запирали на замок, чтобы Григорий не мог выйти, пока не протрезвеет до приемлемого состояния.

Отперев дверь, они медленно, глядя под ноги и переступая через беспорядочно расставленные и разбросанные ковши, ведра, ухваты, пришедшие в негодность щетки, старые плевательницы, исключенную из употребления медную посуду и прочие предметы, прошли к лестнице и стали подниматься. Из комнаты на втором этаже доносился громкий храп, перемежающийся стонами и всхлипываниями. Комната была небольшой, весьма скудно обставленной: кровать, стол и два стула, да еще тумба с ящиками возле кровати. Григорий Гнедич спал прямо в верхнем платье, в том виде, в каком его доставили из будки. Лисья шуба распахнута, пришитые под борт кожаные петли частью повреждены; отделанные басонным шнурком палочки, заменяющие пуговицы,

болтаются, вот-вот готовые оторваться, а некоторые и вовсе отсутствуют. Шерстяные клетчатые брюки измяты и грязны, на жилете, виднеющемся из-под расстегнутого сюртука, заметны многочисленные пятна от пролитого вина и размазанного сигарного пепла.

– Шубу снимать не стали, – шепотом пояснил Прохор, – не то замерзнет. Мы чуток подтопили перед тем, как за барином идти, а потом Афонька посидел с ним до ночи да и пошел в дом, а огонь загасил, а то ведь не ровен час...

Григорий пошевелился и вдруг отчетливо произнес:

– Убью, каналья... Наливай тотчас же, не то выпороть велю...

Прохор опасливо приблизился к нему, поднес свечу к самому лицу, потом отступил, удрученно качая головой.

– Выпороть... Это он с Митькой в бреду разговаривает. Надо бы и вправду Митьку этого выпороть розгами да в деревню обратно отправить. Вы уж не сердчайте, барин Павел Николаевич, не мое это дело, не должно дворовым про такие материи рассуждать, а только я скажу: портит он барина Григория Николаевича. Люди, которые с их сиятельством из Вершинского приехали, сказывают, что барин Григорий Николаевич Митьку прикормил, так Митька теперь за него в огонь и в воду, все выполняет, что прикажут, барыню-матушку не слушает, делает, только как его барин велит. Гнать его надо, ваше сиятельство Павел Николаевич, гнать отсюда, пока больших бед не наделал. Барину Григорию Николаевичу строгий пригляд надобен.

Они аккуратно притворили дверь и спустились вниз. На крыльце флигеля Прохор сунул в карман ключ от замка и снова заговорил негромко:

– Вы, ваше сиятельство, барыню-матушку тревожить не велите, это я понимаю, а только надо бы ей знать, что Митька барина Григория Николаевича портит. Пусть кто другой их сиятельству Григорию Николаевичу прислуживает, кто порядок понимает и соблюдает.

– Кто ж, например? – спросил Павел, примерно догадываясь уже, к чему идет разговор.

Аполлинария Феоктистовна прекрасно знает про Митьку, но никаких приказаний на его счет не дает. Значит, у нее есть свои резоны, и обсуждать их с младшим сыном она не намерена. Прохор же полагает, что всякая разумная мать должна бы уже принять меры, а коль не принимает, стало быть, находится в неведении. Вот и хлопчет, чтобы довести до барыни, а там, глядишь, и ненавистного Митьку назад в Вершинское отошлют, а на его место другого дворового приставят. Павел был уверен, что речь пойдет о сыне Прохора. Что ж, каждый заботится о своей выгоде, и нельзя ставить это Прохору в вину.

- Да вот хоть Афонька мой! Чем плох?

- Так он молод еще, - засомневался князь.

- Да как же молод? Пятнадцать ему, здоровый мужик, сами знаете, силищей Бог наградил изрядной, все равно ж не Митька барина Григория Николаевича на себе таскает, а Афонька мой. Зато он верный, смекалистый и не болтун, и наказы все выполнять станет, как велено. Своевольничать-то я его с малолетства отучил, порол, не жалеючи.

Павел знал, что Прохор, хоть и крепостной, находится в доме на особом положении и своей верной службой и преданностью хозяевам давно завоевал право разговаривать так, как другим крепостным не дозволялось. Был он, бесспорно, умен, наблюдателен и обладал каким-то невероятным чувством собственного достоинства, которое делало возможным для него честно служить, не чувствуя себя униженным, и в то же время быть с хозяевами искренним, не переходя установленных границ. Надо ли удивляться тому, что и женился он не на ком-нибудь, а именно на Прасковье, горничной княгини - такой же, как он сам: честной в работе и независимой по духу. Оба они, и Прохор, и Прасковья, оказались приближены к хозяевам и обласканы, их ценили, им доверяли, им делали подарки, младшего сына Афанасия разрешили забрать из деревни и привезти в Москву, отдали в школу. Может, и прав Прохор, пора смену растить. А если Афанасий, обученный грамоте и счету, хорошо себя покажет, то сможет надеяться и вольную получить.

- Я поговорю с княгиней, - пообещал Павел.

- Благодарствуйте, батюшка-барин.

Павел невольно остановился. «Батюшка-барин» – так крепостные обращались только к его отцу, а после смерти отца – к Григорию, старшему сыну, считавшемуся главой семьи. Павел был просто «барином» или «барином Павлом Николаевичем», и это ни у кого не вызывало удивления, ибо считалось правильным. И вот сейчас, несколько мгновений назад, крепостной Прохор Антипов по собственному разумению назвал его батюшкой-барином. «Выслуживается, – подумал Павел, улыбнувшись в душе. – Подлизаться хочет, чтобы я перед маменькой за его сына похлопотал».

Спустя несколько дней он вдруг вспомнил этот разговор и похолодел от ужаса. Откуда Прохор мог знать? Неужели предчувствовал?

\* \* \*

Жизнь частного пристава никто не назвал бы легкой и приятной: двери его дома должны быть открыты круглосуточно, чтобы жители подведомственной ему части могли в любое время дня и ночи обратиться с жалобами, уведомлениями и сообщениями о преступлениях или каких других непорядках, нарушающих благочиние. А в семь утра, даже если ночь выдавалась бессонной, частный пристав уже принимал доклады квартальных о происшествиях за минувшие сутки. Пристав Лефортовской части подполковник Сунцов к тяготам службы относился спокойно, ибо все хлопоты и неудобства сторицей окупались подношениями и взятками. С ним можно было договориться о чем угодно, это был всего лишь вопрос цены.

– Да верно ли, что он согласится? – с тревогой спрашивала Аполлинария Феоктистовна, устраивая грузное свое тело в экипаже, поставленном по случаю зимы на полозки. – Не напрасно ли едем?

– Не извольте сомневаться, ваше сиятельство, – заверил ее квартальный надзиратель Васюков, забираясь на место возницы – кучера будить не стали, чтобы не посвящать в дело, экипаж заложил все тот же верный Прохор, от которого в семье секретов уже не осталось. – Деверь мой аккурат в Лефортовской части служит квартальным, он много чего про пристава порассказывал. Все сделаем. Там и роща Анненгофская есть, место подходящее. Мы сейчас за деверем-то заедем, подыдем его и с собой возьмем, так оно вернее будет.

Павел, все еще чувствуя дрожь в ногах, уселся в карету рядом с матерью, не переставая поражаться ее самообладанию. Он не мог ответить сам себе, согласен ли с тем решением, которое приняла княгиня, хорошо она придумала или дурно, но не чувствовал в себе сил сопротивляться. Покорность родителям – вот первое, что воспитывали в нем, в Вареньке, да и вообще во всех детях. Если человек здоров душевно, то послушаться старших не может ни при каких условиях.

Павел ожидал, что в доме частного пристава придется просить разбудить Сунцова, объяснять, что случилось, потом долго ждать, пока тот оденется и сойдет к посетителям, однако все вышло совсем иначе. Во втором часу ночи пристав еще не спал. Все окна в первом этаже дома светились: к Сунцову доставили правонарушителя, и пристав, как предписано, тут же начал составлять протокол и записывать показания самого виновного и свидетелей.

В комнате, где Гнедичей просили подождать, было жарко натоплено, и Павла невольно поклонило ко сну, однако едва он смежил веки, как его начал тряссти сильный озноб. «Уж не заболел ли?» – с тревогой подумал он, поглядывая на мать, которая, расстегнув короткий салоп и сняв накинутую поверх шляпки и завязанную под подбородком вуаль, о чем-то тихо переговаривалась с Васюковым и его деверем, сонным и недовольным тем, что его подняли среди ночи и заставили идти в часть.

Наконец правонарушителя оформили по всем правилам и увели в арестантскую, и посетители были приглашены к Сунцову – худому жилистому мужчине лет сорока пяти с ехидно-насмешливым выражением лица и острыми глазами под кустистыми нависшими бровями. Павел полагал, что объяснение и изложение просьбы займет много времени, но Сунцов очень быстро все понял, и стало очевидным, что в просьбе такой нет для него ничего необычного.

– Анненгофская роща подойдет, – кивнул пристав. – Все сделаем, княгиня. Помочь вам – мой долг. У меня и человек на примете есть. Только в ответ мне от вас потребуется услуга.

– Ваша помощь не останется без должного вознаграждения, – тут же откликнулась Аполлинария Феокистовна. – Могу вас заверить, что я ничего не пожалею, только бы решить дело.

По лицу Сунцова промелькнула удовлетворенная улыбка.

– Я не об том, ваше сиятельство. Мне нужны вещи. Немного и недорогие, каких не жалко. Но они должны неопровержимо указывать на своего владельца. Вещи эти вам потом вернут. Это условие не обязательное, но желательно его выполнить, так вернее будет.

– Вещи вам доставят, – кивнула княгиня.

– Городового с вами пошлю...

– Не стоит беспокойства, мы сами справимся, – быстро оборвала Сунцова Аполлинария Феоктистовна.

– Польщен, что мне выпала честь быть полезным князьям Гнедичам, – галантно распрощался с ними частный пристав.

Домой возвращались долго: днем дороги хорошо утрамбовались, и еще час назад экипаж мог проехать без всяких затруднений, а теперь повалил густой, мохнатыми хлопьями, снег, и пока они были у пристава, изрядно намело. Васюков и его родственник ехали на козлах, и княгиня могла свободно говорить с сыном, не боясь быть услышанной.

– Чего дрожишь? – недовольно спросила она. – Замерз?

– Да, кажется, – неуверенно пробормотал Павел.

– Терпи, – строгим голосом велела мать. – Ночь трудная и долгая, держи себя в руках. Надо сегодня сделать все как следует, зато потом уж никаких хлопот не будет. Ох, встанет мне это...

Она вздохнула и покачала головой.

– Васюкову заплатить надо, родственнику его – надо, приставу надо, причем много, чтоб доволен остался. И Прохора с Афоней не обидеть. Одни расходы! Потом похороны, поминки... Свадьба Варенькина. Конечно, у нас траур, и свет не осудит, если свадьба будет скромная, но все равно расходы. Где столько денег

взять?

Павел чувствовал не только озноб, но и внезапно подступившую тошноту. Да полно, маменька ли это? Немолодая болезненная женщина, которую он привык почитать, слушаться и бояться, как привито сызмальства, вдруг показалась ему каким-то демоном, существом без сердца и души. Сегодня умер ее старший сын, умер страшно и нелепо, она стояла рядом с бездыханным телом, своими глазами видела посиневшее лицо Григория с вывалившимся изо рта распухшим языком, побелевшая и омертвевшая от ужаса, но и часа не прошло, как она вполне овладела собой и начала давать распоряжения и приводить в исполнение свой чудовищный замысел. Единственным признаком того, что в княгине Гнедич что-то дрогнуло и переменилось, стало обращение к Павлу на «ты». До этого дня Аполлинария Феоктистовна обращалась на «ты» из всех троих детей только к дочери. Откуда в матери столько внутренней силы? И столько безжалостности...

В голове Павла снова и снова прокручивался разговор с матерью, состоявшийся перед тем, как она послала за Васюковым.

– Варю надо выдавать за Раевского, – говорила Аполлинария Феоктистовна Павлу, когда они вернулись в дом из флигеля, где обнаружили висящего в петле Григория, – тебе предстоит жениться на Лизе. Мы не можем допустить, чтобы в свете говорили: Григорий Гнедич – горький пьяница, который помешался умом и свел счеты с жизнью. Душевное нездоровье передается по наследству, стало быть, получено от кого-то из предков, а коль получил Григорий, то кто поручится, что не получили и другие дети. Раевский откажется от Вари, а Лиза – от тебя. И репутация наша пошатнется, а ведь теперь, после смерти моего дорогого супруга и вашего отца, мы лишились влияния, и единственное, чем нашей семье еще осталось дорожить, – это наше доброе имя. Если бы Григорий оставил подробное письмо, в котором объяснял бы, что как человек чести не может более жить и должен застрелиться, с этим можно было бы смириться. Стреляются многие, это, конечно, грех перед Господом, это не одобряется, но и не вызывает толков о душевном нездоровье. Но он даже этого не сделал! И дал всем право думать об умопомешательстве. Теперь у нас нет иного выхода, кроме как сделать вид, что Григория убили разбойники. Ограбили и повесили в лесу.

– Матушка, я мог бы сам написать такое письмо... – робко предложил Павел. – Я напишу, а вы скажете всем, что это Григорий оставил.

– И думать забудь! – прикрикнула на него Аполлинария Феоктистовна. – Или ты не помнишь, сколько долговых расписок он написал за свою жизнь? Да его почерк пол-Москвы знает. Письмо придется приставу нашей части показывать, без этого не обойтись, а уж через его руки столько расписок Григория прошло – и не перечесть. И все они у него хранятся, потому что должники взыскания требовали и расписки эти и векселя к заявлениям прикладывали. Ему сличить документы ничего не стоит. И что ты можешь написать в таком письме? Что задолжал штабс-капитану такому-то или не можешь карточный долг отдать? Тут имена надобно называть, а ну как кто проверит? Щелкопер какой-нибудь начнет раскапывать, ведь написать статейку про князя-самоубийцу многие захотят, вот и вскроется обман. Только хуже будет.

Она пожевала губами, словно что-то прикидывая, потом кивнула каким-то своим мыслям.

– Иди посылай Прохора к Васюкову, пусть разбудит его и сюда приведет. Васюков – человек верный, он поможет. Стены вымыл? Ничего там не осталось?

– Ничего, матушка. Грязь только.

Впавший в безумие от длительного запоя Григорий перед смертью писал углем на стене комнаты во флигеле, где находился со вчерашнего дня. Слова его предсмертной записки были обрывочны и бестолковы и с очевидностью свидетельствовали о горячке и болезненном состоянии ума. Аполлинария Феоктистовна понимала, что, если не удастся договориться с приставом, городского придется привести туда, где лежит тело, и не хотела, чтобы он видел еще одно доказательство душевной болезни сына. Да и мало ли кого еще понадобится привести во второй этаж «холодного» флигеля. Как ни была она раздавлена случившимся, но сыну не преминула указать на необходимость стереть надпись, пока никто из прислуги не увидел. Не хватало еще, чтобы дворня начала шептаться: молодой барин одержим бесами. Одно дело – спьяну руки на себя наложил, и совсем другое – ежели умом тронулся и бесы одолели.

– Слава Богу, что мне в ум пришло самой во флигель наведаться и Гришку проверить, – неожиданно заявила княгиня. – Не то пошел бы ты, как обычно, с Прохором. Чуюло мое сердце, чуюло, что не надо сегодня слуг брать с собой. Вот и не обмануло материнское сердце-то. Ты вот смотришь на меня, Павел Николаевич, да думаешь, поди, что я сына своего не любила. Ведь думаешь? Признавайся!

– Нет, матушка. Я думаю только о том, сколько в вас силы и мужества, и боюсь, чтоб вы снова не расхворались от такого удара.

– Молод ты еще, – вздохнула она. – Молод и глуп. А потому слушайся мать и делай, как она велит. И не смотри на меня так. В обмороках валяться – девичья забота, а моя забота – семью оберегать и репутацию блюсти. Зови Прохора, а как Васюков придет – сюда веди. Ступай, Павел, я одна побыть хочу.

\* \* \*

Васюков пришел неожиданно быстро, оказалось, Прохор встретил его на улице неподалеку от дома Гнедичей. И вот миновало всего два часа с небольшим – а они уже едут обратно, и дело, кажется, решено вполне.

Трясаясь от нервного озноба в холодной карете и слушая, как мать деловито перечисляет предстоящие неотложные дела, Павел Гнедич был уверен, что худшей минуты в его жизни уже не будет. Перед глазами стояло изуродованное смертью от удушья лицо брата, его висящее в петле тело, кажущееся отчего-то жалким и беспомощным... Руки до сих пор ощущали шершавость тряпки, которой он мыл исписанную углем стену, в ноздрях стоял кислый запах, обыкновенно присущий помещениям, в которых долго и много пили. Надо пережить эту ночь, пережить, перетерпеть, выполнить все, что велит матушка, а дальше все как-нибудь пойдет само собой...

Чтобы не разбудить дворника, остановили карету саженьях в двадцати от ворот дома. Васюков с деверем тихо и быстро прошли во флигель и вскоре вынесли завернутое в мешковину тело Григория, чтобы в той же карете увезти в оговоренное место – Анненгофскую рощу. Аполлинария Феокистовна велела сыну пойти в комнату Григория и взять вещи, о которых просил частный пристав Сунцов.

– Да побыстрее, – поторопила она, – Васюкову отдай, он отнесет, куда нужно.

Руки у Павла дрожали так, что он несколько раз чуть не выронил свечу, осматривая комнату брата. Чувствуя, что плохо понимает происходящее, открыл стоящую на столике шкатулку, взял оттуда перстень с черным камнем и часы на цепочке. Оба предмета были совсем небольшой ценности, зато имели

монограмму «ГГ» – Григорий Гнедич.

Отдав их Васюкову, топтавшемся на крыльце, Павел вернулся в дом и поднялся к себе. Ему хотелось лечь и закрыть глаза и одновременно хотелось что-то делать, куда-то идти, с кем-то говорить, чтобы избавиться от ощущения навалившегося на него кошмара. Павла лихорадило. Верный Прохор, так и не прилегший с того момента, как его послали за квартальным надзирателем, принес горячие грелки, спросил, не приготовить ли самовар и не подать ли чаю, предложил послать за доктором.

– Не надо доктора, – слабым голосом отказался Павел. – И чаю не надо. Душно мне... И холодно...

Он переоделся и лег в постель, так и не сняв халата. Сон то наваливался на него, то уходил, внезапным ледяным толчком заставляя сердце колотиться где-то в горле. Слова, написанные Григорием перед смертью, звучали в ушах, словно кем-то произнесенные, и от этого неизвестного голоса, от этих последних слов брата весь воздух в комнате, казалось, начинал вибрировать и утекать куда-то. Павел задыхался.

И вдруг в какой-то момент понял: он знает, что нужно сделать. Откинув одеяло, зажег свечу, прошел босиком, не чувствуя ледяного пола, к бюро, открыл крышку, обмакнул перо в чернильницу и принялся записывать врезавшиеся в память слова:

«Демоны окружили меня...

Душу мою требуют...

Все мы – рабы своих грехов, и нет у нас будущего...

Петуху голову отрубили...

Я не хочу смотреть...

Но я должен...»

Уже дописав последние слова, Павел понял, что многоточия проставлял автоматически: в том, что было написано углем на стенах комнаты во флигеле, никаких знаков препинания не стояло, просто обрывки фраз. Словно в предсмертные слова брата он внес часть себя, своего сознания, своей души.

Зачем, зачем он сделал это?! Почему?

И неизвестно откуда в голову пришла отстраненная мысль: «Я ни на что не гожусь, кроме как быть послушным орудием в чужих руках. Я не смею перечить матушке. Я не смог заставить Григория прекратить бесчинства. Чиновное послушание и дисциплина так крепко въелись в меня, что даже сейчас, пребывая в аду, рука моя твердо владеет пером, почерк ровен и четок, и даже знаки препинания я расставляю как положено. Именно про таких, как я, справедливо говорят: бумажная крыса».

Но ему действительно стало легче. Мучивший его голос перестал звучать в ушах, и Павлу Гнедичу удалось наконец забыться тяжелым, лихорадочным сном.

\* \* \*

Он и в самом деле слег и четыре дня не вставал с постели. За эти четыре дня пришло известие о том, что Григорий Гнедич найден в Анненгофской роще повешенным на дереве и ограбленным. Варенька рыдала, Аполлинария Феоктистовна проявляла невиданную стойкость и выдержку. Вызванный к Павлу доктор Лейхсфельд, много лет пользовавший всю семью Гнедичей, удрученно качал головой, прописывал микстуры и компрессы, пригласил для консультации известного в Москве хирурга и, в конце концов, настоятельно посоветовал испросить отпуск и съездить на воды или хотя бы провести несколько недель в деревне.

Но на пятый день Павел поднялся и сошел в гостиную, а на шестой градский сержант, состоящий при частном приставе для выполнения поручений, привез официальное письмо, в котором подполковник Сунцов просил прибыть в Лефортовский частный дом для опознания вещей, изъятых у одного из членов пойманной накануне шайки беглых крепостных, промышлявших разбоями. Павел предложил матери не ехать, но она воспротивилась:

– Поеду. Как тебя одного отпускать? Ты еле на ногах держишься. Да и дело важное, тут осмотрительность нужна, никакой ошибки быть не должно. Хочу сама убедиться.

Велели закладывать экипаж. В дороге Павлу снова стало хуже, хотя с утра казалось, что он пошел на поправку. В частном доме им предъявили перстень и часы с монограммой, и княгиня и князь Гнедичи уверенно подтвердили, что сии предметы принадлежали их сыну и брату. Впрочем, уверенность демонстрировала только княгиня, молодой князь испытывал сильнейшую слабость и дурноту, перед глазами у него все плыло и двоилось. Сидящий в сторонке за отдельным столом письмоводитель записывал всю процедуру в протокол.

– Могу я увидеть этого разбойника? – спросила Аполлинария Феоктистовна.

– Разумеется, ваше сиятельство, – кивнул подполковник. – Сейчас велю привести.

Вызвав звонком сержанта, Сунцов приказал доставить арестованного в специальную комнату с выходящим в коридор окошком, через которое можно было рассмотреть преступника.

– Что же, много людей ограбили эти душегубы? – поинтересовалась княгиня.

– Изрядно, ваше сиятельство. С месяц примерно промышляли. Вот, Господь сподобил, сыскали их наконец.

– И они во всем сознались?

– Не во всем, – тонко улыбнулся пристав. – Но к чему нам их сознание, когда есть неопровержимые доказательства? На пожизненную каторгу все пойдут.

В дверь заглянул служитель, сообщивший, что арестованный доставлен и можно идти смотреть на него. Павел с трудом поднялся, испытывая сильное головокружение. Он не мог понять, зачем матери это понадобилось. Неужели недостаточно, что они опознали вещи Григория? К чему еще и это испытание? Впрочем, в ту минуту все его силы были направлены только на то, чтобы удержаться на ногах и не пошатнуться, ведя мать под руку. Впоследствии он

никак не мог вспомнить все в подробностях, словно пелена какая-то завесила сознание, окутала его, не давая страшной действительности прорваться и обрушиться всей тяжестью на душу. Он не понимал и не помнил, как довел мать до окошка, и обратный путь домой тоже не помнил. А вот мужика того, за окошком, помнил очень хорошо. Его лицо, грубое, в крупных рытвинах от оспы, с пустыми непонимающими глазами, было единственным, что сознание впустило в себя и удержало на долгие годы.

– Значит, говорите, пожизненная каторга? – послышался голос Аполлинарии Феоктистовны.

– Никак не меньше, ваше сиятельство, – ответил подполковник. – Была бы моя воля, я б повесил его, но закон не позволяет, у нас смертная казнь только за политические преступления разрешена. Но и в каторжных работах ему сладко не придется, будьте покойны. А вещи вам вернут, как только все бумаги окончательно оформим.

– Спасибо, голубчик, – сдержанно поблагодарила княгиня. – Ваше служебное рвение будет должным образом оценено.

1843 год, январь – февраль

На период траура не полагалось участвовать в увеселениях, ездить с визитами и посещать театры, и Павел Гнедич стал допоздна задерживаться на службе в Московском главном архиве Министерства иностранных дел, снова и снова переписывая документы, оттачивая формулировки и добиваясь того, что принято было именовать «хорошим слогом»: вся бумага должна быть написана одним предложением, сколько угодно длинным, хоть на три страницы, но одним. Добившись гладкости текста, он начинал раз за разом переписывать его до тех пор, пока не оставался полностью удовлетворен красотой и изяществом почерка. С недавнего времени из Англии стали привозить стальные перья, однако Гнедич предпочитал пользоваться гусиными: стальное перо на рыхлой бумаге не давало возможности вывести чистые правильные линии и изысканные завитки. Подготовка перьев к работе тоже требовала времени и кропотливого внимания: в продажу поступали связки неочиненных перьев и изготовление из такого полуфабриката орудия для письма было настоящим искусством.

Тем январским вечером Павел явился домой, справился о матушке и сестре, услышал, что Аполлинария Феоктистовна утомилась, принимая траурные визиты (был четверг – день, когда у Гнедичей принимали), и ушла в свою комнату отдохнуть, княжна же Варвара Николаевна – в гостиной с рукодельем. Заглянув в гостиную и поцеловав сестру, князь поднялся к себе, велел подать ужин через полчаса.

В комнате было нестерпимо холодно, хотя топить начинали вовремя, ледяная струя воздуха тянулась из окна, которое, как оказалось, было неплотно притворено. «Вот же бездельники, – сердито подумал он. – Каждый раз одно и то же: вроде все сделают, а что-нибудь да недоделают. Натопили, а окно не закрыли как следует после того, как подушки выбили. Велеть высечь, что ли? Да все равно толку не будет...»

Часа через два, закончив трапезу, он поднял крышку бюро, собираясь написать письмо, выдвинул ящик, в котором держал шкатулку, чтобы привычно удостовериться, все ли на месте. Однако ящик оказался пуст. Гнедич зажмурился, потряс головой, открыл глаза – ничего не изменилось, шкатулки по-прежнему не было. Возможно, он ее переложил куда-то и забыл? Но как ни напрягал Павел память – ничего не вспомнил.

Обливаясь холодным потом, он перевернул вверх дном всю комнату, проверив каждый ящичек, каждую полку, каждый уголок. Шкатулки нигде не было. Шкатулки, в которой лежали часы и перстень покойного брата, а также записка, написанная Павлом по памяти в ту страшную ночь...

Стараясь держать себя в руках, он прошел по коридору до комнаты Аполлинарии Феоктистовны. Перед дверью на стульчике подремывала горничная Прасковья, ожидая, когда барыня кликнет раздеваться и соберется отходить ко сну.

– Спроси барыню, можно ли к ней зайти, – приказал Павел.

Прасковья скрылась за дверью и через короткое время вышла.

– Пожалуйте, барин.

Аполлинария Феоктистовна, в просторном шлафоре из черного плиса (иные цвета в период глубокого траура не допускались даже дома), полулежала на оттоманке. Протянув сыну руку для поцелуя, окинула его внимательным цепким взглядом и спросила:

– Случилось что? Ты так бледен... Не заболел ли?

– Я здоров. Впрочем... Не уверен. Маменька, не могу найти шкатулку. Вчера еще была на месте, и третьего дня тоже, да я каждый день ее проверяю, уже в привычку вошло. А сегодня найти не могу. Вот думаю, может, и вправду я болен, память теряю? Сам перепрятал куда-то, да и запамятовал. Я вам не говорил ничего про это? Или, возможно, вам отдал?

Лицо княгини приобрело нездоровый красно-лиловый оттенок от прилива крови к голове. Она резко спустила ноги на пол.

– Помоги встать, – велела она. – Я в кресло пересяду. И окно открой, душно мне.

Усевшись в кресле, Аполлинария Феоктистовна сделала несколько глубоких вдохов и разрешила окно закрыть. Ей стало лучше.

– Мне ты ничего не передавал, – негромко и сосредоточенно проговорила она. – И ничего не говорил про то, что в другом месте спрятал. Значит, шкатулку кто-то взял.

– Кто, маменька? Кому она нужна? Ценность невелика, если только для дворни, но они все проверенные. Варя?

– С ума сошел! – замахала руками княгиня. – Ей-то зачем? Да она девица хорошо воспитанная, никогда в чужую комнату без спроса даже не войдет, не то чтобы взять что-то и вынести.

– Тогда кто же? Кто сегодня был с визитами?

– Графиня Толстая, – принялась перечислять Аполлинария Феоктистовна, – барон Шиммельхоф с супругой, Коковницыны всем семейством...

– Всем семейством? – переспросил Павел. – Что же, и Петр был? Из полка прибыл?

– Был, был, – кивнула княгиня. – Послан в Москву с каким-то поручением от командира, так вместе со всеми зашел соболезнования выразить. И Петр был, и сестра его, и даже малютка Михаил. Ну и граф Аристарх Васильевич с графиней, само собой. Они с гулянья возвращались, потому и младший сын с ними был. Неужто на Петра думаешь? Он, конечно, задира и фрондер, выпить любит и подраться, но чтобы такое... Немыслимо, Павел! Каков бы ни был Петр Коковницын, но он дворянин.

Гнедич задумчиво смотрел на мать, потом попросил ее позвать Прасковью.

– Пусть Прохор сюда придет, – приказал он, – только тихо, лишнего шума не надо. Он, поди, дремлет, как обычно, так ты разбуди осторожно, чтоб никто не слышал.

Прохор, обладавший способностью засыпать мгновенно, крепко и в любом положении, действительно использовал каждую возможность, чтобы закрыть глаза, но зато и просыпался легко, быстро и всегда с ясной головой. В отличие от большинства людей, понятие «спросонок» было ему неведомо.

Он и в самом деле появился довольно скоро, и по его виду никак нельзя было сказать, что он только что спал глубоким и крепким сном.

– Сегодня Коковницыны были с визитом, – начал Павел. – Помнишь ли, как дело было?

– Ну как... – Прохор развел руками. – Известное дело, Архипка дверь им открыл, шубы и шапки принял, они всей толпой и вошли в гостиную: их сиятельство старый граф с их сиятельством графиней, их сиятельство Петр Аристархович, их сиятельство Елена Аристарховна и младшенький сынок, их сиятельство Михаил Аристархович, с ним дядька его, Матвей, да служанка. Служанка, понятное дело, в гостиную не вошла, у дверей на сундуке сидела, а Матвей вместе с барчуком пошел. Потом барчуку, видать, скучно стало, он и вышел из гостиной, и Матвей за ним следом. Я их проводил в бальную залу, там хоть и нетоплено, но зато места много, барчуку побегать-то... с Матвеем поиграть...

– И что, они все время в бальной зале были? – требовательно спросила Аполлинария Феоктистовна.

– Не поклянусь, – честно ответил Прохор. – Стали другие гости приезжать, надо было самовар все время ставить, чай подавать, посуду убирать, следить, чтобы в буфетной порядок был, закуски там, сладкое... Мог и упустить. А только, помнится, вышел я в переднюю, гляжу – Матвей этот с нашей Глафирой языком чешет, да поглядывает на нее, как кот на сметану. Ну, я цыкнул на Глашку-то, над Матвеем у меня власти нет, он коковницинский человек, а Глашке я всыпал по первое число. Так я вот сейчас думаю: если Матвей с Глашкой в передней крутился, то где ж в это время маленький барчук был?

– И в самом деле, – нехорошо усмехнулась княгиня, – где был в это время Мишенька Коковницин? Как узнать?

– Я узнаю, барыня-матушка, не сомневайтесь, – твердо пообещал Прохор. – Прислуги в доме много, непременно кто-нибудь что-нибудь да видел. Дайте только срок, к завтраму все вызнаю. А может, и раньше. Сей же час Афоньку своего подниму, он глазастый да сноровистый, все сделаем, не извольте беспокоиться.

Прохор ушел, а княгиня сделала сыну знак остаться с ней.

– Что делать будем? – спросила она строго. – Или ничего? Чтобы в дворянском доме воры завелись – дело неслыханное, кроме мальчишки Коковницина и думать больше не на кого, он ведь без пригляда оставался бог весть сколько времени, а матушка его, графиня Ольга Федоровна, помнится, жаловалась на него, дескать, неслух, справиться с ним никто не может, точная копия своего старшего братца Петра. Ах, кабы не записка твоя, так можно было бы и вовсе не беспокоиться! Пусть бы у самого Мишеньки совесть нечиста, а нам каяться не в чем.

Лицо ее, одутловатое и рыхлое, вдруг осветилось надеждой.

– Да и записка нам не страшна, мало ли, кто что написал... Может, для памяти... Или набросок какой... Конечно, шкатулка – память о Григории, его вещи, его слова, надо бы вернуть.

Павел чувствовал, что земля уходит из-под ног. Вернуть надо – но как? Не пойдешь же к Коковницыным с обвинениями ребенка в краже...

– С другой стороны, – продолжала задумчиво Аполлинария Феоктистовна, – дитя ежели прочтет записку, так и не поймет ничего, а вот ежели кому из взрослых покажет, так могут подумать, что Григорием писано. И лежит записка вместе с памятными его вещами, стало быть, от него именно осталась. Умер-то он для всех от разбойничьей руки, это само собой, а только записка без всяких экивоков покажет, что он умом тронулся, а это уж нехорошо выйдет. Разговоры начнутся, и обернется в конце концов как раз тем, чего мы так стремились избежать. Нет, ничего не поделаешь, надобно ехать вызволять шкатулку, да чем скорее – тем лучше, покуда записку никто не прочел.

В дверь осторожно поскреблись, просунулась озабоченная физиономия Прохора.

– Барыня-матушка, барин, ваши сиятельства, Афонька мой шкатулку нашел, в снегу под окнами брошена была.

– Слава Богу! – громко выдохнула княгиня.

– Только пустая она, – виноватым голосом продолжал Прохор. – Уж не знаю, что в ней было, а теперь уж ничего нету.

– Где ж нашел? – спросил Павел.

– Аккурат под окнами вашей комнаты, барин. Видать, тот, кто взял, шкатулочку-то выбросил, чтоб в руках не носить, а что внутри было – в карман сунул. Да мальчонка это коковницинский, я точно вызнал, видали его на втором этаже, бегал туда-сюда, во все двери заглядывал.

Павел вспомнил неплотно притворенное окно в своей комнате. Да, пожалуй, Прохор прав. Так все и было. И что же теперь делать?

До глубокой ночи просидел он в покоях матери. Оба понимали, что назавтра надо будет ехать к Коковницыным, и предлагали то один, то другой план: как построить разговор, чтобы и искомое получить, и отношения с добрыми знакомыми не испортить. Никакого ясного плана, однако, не вышло, и чем

дольше мать и сын разговаривали, тем более запутанной и безвыходной казалась им ситуация.

В конце концов, разошлись спать с уговором: Павел отбудет время на службе с утра и до обеда, затем вернется домой, и они вместе поедут к Коковницыным. Раньше четырех пополудни приезжать с визитами все равно неприлично. Княжну Варвару, разумеется, ни во что посвящать не стали.

\* \* \*

У Коковницыных их встретили с нескрываемым изумлением: делать визиты в период глубокого траура считалось нарушением приличий.

– Аполлинария Феоктистовна, голубушка, уж не случилось ли какого несчастья? – участливо спросила графиня Ольга Федоровна, едва одетые во все черное князь и княгиня Гнедичи появились в гостиной.

Хозяйка дома быстрым цепким взглядом окинула черную бомбазиновую ротонду Аполлинарии Феоктистовны и ее шляпку, украшенную цветами из гагата, словно оценивала, насколько прилично быть в столь изысканном наряде в период траура по сыну.

– Мы не позволили бы себе нарушить приличия, если бы не чрезвычайные обстоятельства, – негромко произнесла княгиня. – Право, не знаю, как и начать... Дело весьма щекотливое, даже интимное... Граф простит нас, если мы попросим дозволения переговорить с графиней наедине?

Граф Аристарх Васильевич не только не возражал, но даже и удивления такой просьбой не выказал. Он производил впечатление человека, который мало понимает суть происходящего, а если и понимает, то ему все глубоко безразлично. Как и полагалось, он был одет к приему визитеров в однобортный сюртук; брюки в мелкую бежево-коричневую клеточку свидетельствовали о том, что хозяин дома не чужд веяниям моды, однако все знакомые знали, что старик почти совсем глух, а даже если что и расслышит, так уж не поймет. Еще десять лет назад граф был полон жизни и энергии, но болезнь превратила его в полную развалину.

Ольга Федоровна ласково улыбнулась и сделала княгине и ее сыну приглашающий жест. Войдя в будуар, графиня предложила визитерам располагаться на диванах, сама же заняла место в кресле и придала лицу приличествующее случаю выражение внимания и готовности сочувствовать.

С первых же слов Аполлинарии Феоктистовны стало понятно, что никакой идеи, никакого плана у нее так и не появилось, и княгиня, вероятно, рассчитывала на «авось»: на удачу или внезапно пришедшее озарение. Разговор она начала неловко, даже, на взгляд Павла, грубо, сразу перейдя к делу.

Возмущению графини не было предела. Она настолько потеряла самообладание, что вскочила со своего места и выбежала из будуара, громко призывая домашних в свидетели нанесенного ее семейству оскорбления. Скандал разразился мгновенно и бурно, и уже через несколько минут Петр Коковницын произнес, обращаясь к Гнедичу:

– Вы нанесли оскорбление моему несовершеннолетнему брату, заподозрив его в воровстве. Как его полноправный заместитель я требую сатисфакции.

Аполлинария Феоктистовна замерла: она совершенно не брала в расчет присутствие задиры Петра, когда задумывала свое предприятие.

Павел коротко кивнул.

– Я пришлю к вам своих секундантов, – ответил он.

Домой Гнедичи возвращались в гнетущем молчании. Сбросив на руки лакею подбитый мехом салоп, княгиня сделала Павлу знак следовать за нею. В своих покоях Аполлинария Феоктистовна наконец заговорила, предварительно плотно притворив дверь. Говорила она несвойственным ей в обычных обстоятельствах тихим голосом, который, однако же, оставался, как всегда, твердым.

– Дела мы не решили. Ошибку я сделала, не так разговор повела. Не все предусмотрела. Не так рассчитала. От тебя про это ничего слышать не хочу, сама все знаю. Про Петра не подумала, теперь вот стреляться тебе с ним. Делай что хочешь, Павел, но ты должен остаться жив. Если для этого надобно унизиться – унижайся, прощения просить – проси, письма писать – пиши. Что хочешь делай, но второго сына потерять я не могу.

– Но дворянская честь...

– Молчи! – шепотом прикрикнула мать. – Дворянская честь и ее соблюдение от первого до последнего слова в дуэльном кодексе прописана. Или забыл? Так я и напомнить могу: секунданты обязаны приложить все свои старания к тому, чтобы уладить дело, если только возможно, мирным путем, без ущерба для чести какой-либо из сторон. От тебя зависит, кого в секунданты попросишь, так выбирай людей миролюбивых, умеющих уступать, разумных. А то, что после про тебя станут говорить, будто ты стреляться побоялся и миром дело решил, – про то забудь! Вызывают сотнями каждый день, а стреляются единицы, это мне доподлинно известно. Тот же Петр Коковницын – дня не проходит, чтоб не вызвал кого-нибудь, как в Москву приедет – так непременно дуэль затевает, но ведь не убил пока никого. А знаешь, почему?

Павел пожал плечами.

– Потому что не убил. Почему же еще?

– Да не потому! А потому лишь, что ему убивать-то нужды нет, ему покуражиться хочется, страху нагнать, себя показать. Вот и пусть покажет, ты ему не препятствуй. С условиями спорь, если жестки будут, не соглашайся, пусть видит, что жизнью дорожишь и убитым быть не хочешь. И секундантов своих, кого выберешь, сразу предвари, мол, готов принести извинения, чтобы дать сатисфакцию.

Заметив колебания сына, Аполлинария Феоктистовна слегка возвысила голос:

– Трусишь, что ли? Не трусь! Чести твоей как дворянина урона не сделается, если дашь сатисфакцию извинениями, тебе ж не перед самим Коковницыным прощения просить, а только лишь в присутствии секундантов. А то, что представитель князей Гнедичей будет перед этим фрондером виниться, нехорошо, конечно, понимаю, но переживешь. Да, вот еще что: Петру скоро в полк возвращаться, так пусть твои секунданты переговоры затягивают под любым благовидным предлогом. Даже если Коковницын решит непременно драться, у него не должно оставаться на это времени, тогда он и извинения примет.

Из покоев матери Павел Гнедич вышел в смятении. Убивать молодого офицера на дуэли он, разумеется, не хотел. Но и приносить извинения за оскорбление, нанесенное семье Коковницыных, не хотел тоже. Во-первых, он был твердо убежден, что обвинение в воровстве обоснованно и справедливо, и подтверждение своей правоты он увидел в испуганных глазах Мишеньки и в его кривой улыбке, когда родители призвали младшего сына и потребовали ответа. Разумеется, мальчик все отрицал, но голос его сказал Павлу о многом.

А во-вторых, Павлу Гнедичу не хотелось жить. И погибнуть на дуэли он считал для себя наилучшим выходом. Можно не приносить никаких извинений, можно согласиться на любые, даже самые жесткие, условия, предложенные оскорбленной стороной. Жаль, что тот, кто нанес оскорбление, не имеет права предлагать условия более суровые, чем выдвигает оскорбленная сторона, в противном случае Гнедич предложил бы стреляться с пятнадцати шагов. Более того, он готов был бы предложить оскорбленному пользоваться его собственными пистолетами, поскольку это допускалось дуэльным кодексом при оскорблениях третьего рода, к которым относится и обвинение в воровстве. Павел хотел бы сделать все, чтобы не выйти живым с места дуэли.

Но маменька требует иного. Еще года не прошло, как она похоронила мужа, потом, меньше двух месяцев назад, старшего сына. Она хочет, чтобы ее младший сын не пострадал, в противном случае в семье не останется мужчин. Желание матери свято. Он, Павел Гнедич, послушный сын и сделает все, как велит Аполлинария Феоктистовна. Он продолжит жить в своем собственном аду, заплатив унижением за эту сомнительную радость.

\* \* \*

Прошла неделя, и молодой граф Петр Аристархович Коковницын вернулся в полк, увозя с собой составленный секундантами обеих сторон протокол о принесении князем Павлом Николаевичем Гнедичем извинений.

– Вы удовлетворены, княгиня? – устало спросил измученный недельными переговорами и спорами Павел. – Дуэли я избежал. Но дело-то ведь так и не решено, пропажу мы не вернули.

– Теперь уже можно не беспокоиться, – усмехнулась в ответ Аполлинария Феоктистовна. – Мишенька даже если и сообразит что-то, так смолчит, в

противном случае ему придется объяснять, откуда он взял вещи и записку. И выйдет, что твои обвинения были справедливы. Кому нужен такой позор? Все будут молчать. А Мишенька Коковницын – вор и подлец, и это хорошо.

– Хорошо? Почему?

– Потому что подлецы всегда трусливы. Он же видел, какой шум поднялся, и ни за что не посмеет признаться. Если Петр узнает правду – Мишеньке житья не станет, он хоть и мал, но уж это-то понимает. Украденное спрячет хорошенько, чтоб никто не сыскал, а то и выбросит от греха подальше. Иди отдыхать, Павел Николаевич, тебе выспаться надо. А с завтрашнего дня начнем думать о свадьбе Вареньки, Раевский предложение когда еще сделал, а из-за печальных наших обстоятельств мы с датой свадьбы никак определиться не могли. Я думаю, на Красную Горку и венчание назначить, до Масленицы уже не успеем. Хорошо бы побыстрее, конечно, но в Великий пост не положено.

– Зачем побыстрее? – не понял Павел. – Для чего? Месяцем раньше – месяцем позже, разве это так важно?

– Ты не понимаешь. – Княгиня посмотрела на сына серьезно и печально. – Мне недолго осталось, я чувствую. Мне надо непременно успеть Вареньку замуж выдать, тогда я уйду со спокойной душой. Хорошо бы и твоей женитьбы дожидаться, но не знаю, доживу ли до возвращения Лизаньки. Что она пишет? Как здоровье ее матушки? Скоро ли воротятся?

– Пишет, что пока рано об этом говорить, матушка ее поправляется, но чрезвычайно медленно, и доктора настаивают на продолжении курса лечения хотя бы до осени.

Аполлинария Феоктистовна как в воду глядела: Владимир Раевский и Варенька Гнедич на Красную горку обвенчались, состоялась скромная свадьба, а в августе княгиня скончалась.

Пропавшие вещи – часы, перстень и записка – так и не обнаружались, и Павел начал думать, что мать, по-видимому, была права: беспокоиться больше не о чем.

1844 год, июнь

– Еще раз благодарю судьбу за то, что вы с матушкой дали мне Вершинское в приданое, – говорила Варвара Раевская брату Павлу, идя рядом с ним по уютной лесной тропинке. – Мне здесь так хорошо! Удивительно, отчего матушка так не любила здесь бывать? Она ведь и нас сюда не привозила, только наш бедный Жорж здесь пожил, да и то недолго.

– Я рад, Варенька, – ласково ответил Павел, – душевно рад, что тебе здесь нравится и что твой муж с удовольствием занимается делами поместья. Мне бы хотелось, чтобы ваши дети росли не в нужде.

Молодая графиня остановилась и осторожно тронула брата за руку.

– Поль, ты всегда говоришь только о наших детях, но отчего ты ни разу не заговорил о своих? У тебя ведь они тоже будут. Ты отдал мне поместье, нет-нет, не спорь. – Она сделала рукой властный жест, так напомнивший Павлу их недавно скончавшуюся мать, Аполлинарию Феоктистовну. – Я знаю точно, что это было именно твое решение, а не ваше с матушкой общее. Я хоть и глупа, но ясно видела, что душевное здоровье матушки ослабело после смерти папа?, а после гибели Жоржа оказалось и вовсе расстроеным, и всеми делами занимался только ты один. Когда ты подыщешь себе новую невесту, тебе достанется наш московский дом. Он, конечно, не дешев, но ведь дохода не дает, в отличие от имения. Отчего ты совсем не думаешь о своем будущем?

Гнедич подал сестре руку, показывая, что намерен идти дальше. Но Варвара была не робкого десятка и не менее упряма, чем ее мать и брат.

– Поль, пора нам поговорить серьезно, – твердо заявила она. – Лизанька Шувалова разорвала вашу помолвку, но в обществе то тут, то там поговаривают, что вы с ней что-то скрываете. Причина, которую она указала, вполне убедительна, но я в нее не верю. И прошу тебя наконец объяснить мне, что происходит.

– Душа моя Барбара, – рассмеялся Павел, – не пристало мужчинам обсуждать подобные сюжеты с молоденькими женщинами, это не комильфо. Давай оставим это.

- Но вы же так любили друг друга!

- Помолвка расторгнута, - строго произнес Гнедич. - И говорить об этом незачем.

- Ну хорошо, - не отступала Варвара, - пусть ты не женишься на Лизе, но ведь ты молод, красив, образован, служишь на хорошей должности, отчего бы тебе не найти другую невесту? Причина, о которой ты не хочешь со мной говорить, не может стать препятствием к другому браку, и тебе это отлично известно. Она всего лишь уважительный повод отказаться от бракосочетания, но никак не причина. Разве нет вокруг нас молодых очаровательных вдовушек с детьми? Почему ты решил отказаться навсегда от своего счастья? Между прочим, тобой очень интересуется Эжени Тверская, с которой ты танцевал на балу по случаю свадьбы твоего друга Мишеля. Ты помнишь ее?

- Разумеется, помню, - улыбнулся Павел. - Настоящая красавица и, как мне показалось, весьма неглупа.

- Так почему бы не обратить на нее внимание? Она из хорошей семьи и благосклонна к тебе. Я уверена, что твое предложение будет принято Тверскими без колебаний. Мне не пристало говорить об этом, но Тверские дают за Эжени достойное приданое.

- Мне нечего предложить своей будущей жене, кроме титула и московского дома, от которого, как ты верно заметила, душа моя, нет никакого дохода. Кроме того, моя должность в Министерстве иностранных дел не даст ни мне, ни моей семье никаких выгод.

- Почему?

- Потому что я намерен отказаться от нее и поступить в университет. Мне прискучило быть чиновником, перебирающим бумаги. Я хочу получить настоящее образование.

Варвара прижала ладони к губам, словно пытаясь удержать крик. Но быстро овладела собой, тревожная морщинка между бровей разгладилась, в глазах блеснула радость догадки.

– Ты хочешь изучать математику? Чтобы получить назначение на должность криптографа?

Павел лукаво улыбнулся и снова протянул ей руку.

– Не угадала. Скажу, если мы пойдем дальше. Если же ты предпочитаешь стоять на этой опушке среди одуванчиков и кормить комаров, то останешься без разгадки моих секретов.

Он любовался прелестным личиком сестры, ее внимательными серыми глазами и круто завитыми рыжеватыми локонами. Даже черное траурное платье не могло притушить свет, словно льющийся от всего ее облика. Их мать родила восьмерых детей, двое не дожили и до года, еще трое умерли в возрасте до шести лет. Выжили лишь Григорий, Павел и Варенька. Григорий погиб, так и не женившись. Он, Павел, великий грешник, не имеющий права перед Божиим судом ни вступать в брак, ни заводить детей. Осталась одна лишь Варенька, и только в ее детях и внуках еще будет жить кровь Гнедичей. Надо ли удивляться тому, что поместье Вершинское теперь принадлежит ее семье! Самому Павлу уже ничего не нужно.

– Хорошо, – рука Вареньки, затянута в кружевную черную, по законам траура, перчатку, легла на сгиб его локтя, – пойдем. Я выполнила твое условие, пришла пора тебе выполнить обещание.

– Я хочу поступить на юридический факультет. Разумеется, лучше было бы получить образование в Императорском училище правоведения, но туда меня не примут из-за возраста. В Училище поступают в гимназические годы, а я уже стар.

Молодая женщина остановилась от неожиданности и отняла руку.

– Ты хочешь сделать карьеру по Министерству юстиции? – спросила она, снова нахмурившись. – Но чем же она лучше карьеры по твоему нынешнему месту службы? В Министерстве иностранных дел у тебя есть возможность рано или поздно стать посланником или представителем и уехать за границу, за такую службу положено хорошее жалование. А кем ты станешь, если получишь образование юриста? В МИДе помнят нашего батюшку, сам вице-канцлер Нессельроде ему благоволил, да и ты на хорошем счету, начальство тебя любит,

тебя поддержат и чинами не обойдут. А в Министерстве юстиции ты начнешь все с нижних должностей, самых ничтожных, и жалованье будет копеечным. Там тебя никто не поддержит. Зачем, Поль? Для чего такие перемены? Во имя какой цели? Ты что-то скрываешь от меня?

Павел рассмеялся.

– Успокойся, душа моя, у меня нет от тебя никаких секретов. Я всегда мечтал о карьере на юридическом поприще, но не считал для себя возможным идти против воли отца и против желаний матушки. Теперь же, когда оба они нас покинули, я вижу для себя некоторую свободу заняться тем, к чему меня влечет. Вот и все. Я рад, что наша матушка дожила до твоего венчания и ушла на небеса успокоенной. Но теперь... Теперь – изволь, душа моя, я займусь тем, чего давно желаю.

Тропинка сделала крутой поворот, сразу за которым они увидели приближающегося верхом мужа Вареньки, Владимира Раевского, излишне полного для своих лет молодого мужчину с необыкновенно добрым лицом и мягким взглядом. Соскочив с лошади, Владимир поцеловал руку жене и приветливо улыбнулся шурина.

– Вот вы где! Самовар готов, пора собираться к чаю.

Павел был рад, что разговор оборвался.

– Вы позволите взять вашу лошадь? – обратился он к Раевскому.

– Сделайте одолжение, – кивнул граф. – Но не уезжайте далеко, мы ждем вас к чаю.

Павел легко вскочил в седло и почувствовал, что стремя для него коротковато: муж сестры был заметно ниже ростом. Ничего, усадьба совсем близко, можно и так доехать.

– Я буду дома раньше вас, – улыбнулся он. – Простите мне эту маленькую хитрость, но должны же молодожены прогуляться без третьих лиц.

Варенька залилась краской смущения, а муж ее посмотрел на Павла с благодарностью.

Гнедич не сомневался, что сестра немедленно поделится с мужем новостью: брат собрался оставить службу в Министерстве иностранных дел и заняться юриспруденцией. И, конечно же, Владимир поднимет этот вопрос в самое ближайшее время. Поймет ли он резоны Павла? Или они покажутся ему пустыми и не достойными внимания? И сможет ли Павел Гнедич объяснить родственнику то, что так гнетет его самого и не дает покоя?

Он был взращен хорошим сыном, что автоматически означало – сыном послушным, не противящимся воле родителей. Служить по ведомству иностранных дел Павел никогда не хотел, но такова была воля отца. Гнедич отчетливо, словно это происходило лишь вчера, помнил тот день, когда судьба его была решена князем Николаем Павловичем...

\* \* \*

– ...Смотри же, говори с ним только по-французски, а если будешь по имени называть, то говори правильно, не ошибись. Петр Корнилиевич не любит, если его называют Петром Корниловичем, запомнил? – говорил отец, в сотый, наверное, раз за всю дорогу повторяя наставления. – И не вздумай засмеяться, когда услышишь его речь. Держи выражение лица серьезным и почтительным.

– Отчего же я должен непременно засмеяться? – недоумевал мальчик. – И что за странное отчество «Корнилиевич»? От какого же это имени?

– Корнелиус. Так звали отца господина Сухтелена. А сам он урожденный Иоганн Петерс, поэтому в первое время, когда он только прибыл ко двору императрицы Екатерины Второй, его именовали Иваном. А уж после он взял имя Петр. Петр Корнилиевич на службе императорского двора еще с тех времен, а по-русски все же с акцентом говорит и шепелявит немного. Нам несказанно повезло, что он соблаговолил дать аудиенцию, ведь он давно уже в Швеции проживает постоянно, в Петербург приезжает крайне редко. Виданое ли дело: четверть века на дипломатической службе в одной и той же стране! Никому доселе такое не удавалось. Год-другой – и отзывают посланника или представителя, меняют на нового. Петр Корнилиевич теперь уж в почтенных годах, совсем старик, а все служит Государю и Отечеству. Мне намекнули, что и меня могут в Швецию

отослать, Петр Корнилиевич в скором времени отойдет от дел, и надобно не упустить случай порасспросить его о разных тонкостях в политике и в обстановке шведского двора...

Павел слушал отца вполуха, ему куда интереснее было смотреть в окно кареты, хотя и видно-то почти ничего не было: зимой в Петербурге темнеет рано, да и стекло инеем подернулось, приходилось прикладывать губы и дышать, чтобы протаять маленькую дырку. Мороз стоял трескучий, всюду горели костры, возле которых маячили фигуры будочников, извозчиков, ожидающих ездовых, и просто замерзающих прохожих, остановившихся погреться. А отец все продолжал говорить, и слова его с трудом доносились сквозь оглушительный грохот колес мчавшихся по Невскому проспекту экипажей. Павел с удивлением отмечал, что пешеходов на тротуарах было совсем немного. Как же так? Самая «парадная» улица столицы – и народу нет никого?

– Папенька Николай Павлович, – спросил он, не дослушав очередное наставление, – отчего же народу нет на улице?

Князь неодобрительно посмотрел на сына.

– Старших перебивать не годится, – строго ответил он. – А народу нет оттого, что в Петербурге вечером ходить пешком по Невскому – это моветон, мой друг. Все порядочные люди ввечеру в экипажах ездят.

Наконец, подъехали к Михайловскому замку. Из легкого экипажа, шедшего позади барской кареты, вышли два лакея и гувернер Павла.

Граф Сухтелен, маленький морщинистый румяный старичок, не вызвал у Павла ни благоговения, ни страха. Глаза подростка моментально впились в многочисленные тома в книжных шкафах, стоящих вдоль стен кабинета, и все прочее сразу перестало иметь значение и вообще существовать. Сказав положенные по этикету несколько фраз на французском и постаравшись не ошибиться в произнесении непривычного слова «Корнилиевич», мальчик мечтал только об одном: чтобы ему разрешили брать книги и оставили в покое.

– Вижу, юный князь до чтения охоч. – Старый дипломат внезапно перешел на русский. Говорил он, как и предупреждал отец, с акцентом и заметно шепелявил, однако ничего смешного в звуках его речи для Павла не было. – Сие

похвально. Я велю Карлу проводить вас в библиотеку, здесь, в кабинете, лишь малая часть моих сокровищ. В моем собрании более семидесяти тысяч томов, да будет вам известно, и среди них есть редчайшие, раритетнейшие экземпляры!

В голосе старика звенело совершенно детское желание похвастаться своими богатствами.

– Если вы, молодой человек, интересуетесь нумизматикой, то я мог бы предложить вашему вниманию мою коллекцию в двенадцать тысяч монет, – продолжал Петр Корнилиевич. – А в моем собрании полотен есть и Тициан, и Микеланджело, и Рубенс, и ван Дейк.

Но ни монеты, ни живопись мальчика не интересовали. Он любил книги.

Все остальное время, пока длилась беседа князя Гнедича с графом Сухтеленом, Павел под бдительным оком своего гувернера наслаждался тем, что взбирался по лесенке к самым верхним полкам и, сидя на ступеньке, листал привлечшие его внимание толстые старинные книги. Свободно мальчик читал только на немецком и французском, здесь же было великое множество книг и на других языках, которыми Павел Гнедич не владел. Но сам вид фолианта, одно только прикосновение к переплету его завораживали...

Как быстро, однако, пролетело отведенное на аудиенцию время! Павлу казалось, что и четверти часа не прошло, когда в библиотеке появился лакей Сухтелена по имени Карл и объявил:

– Их сиятельство князь Николай Павлович просят ваше сиятельство пожаловать для прощания с их сиятельством графом Петром Корнилиевичем.

Как? Уже? Так скоро... Огорчению мальчика не было предела.

На обратном пути из Михайловского замка в дом графа Толстого, где остановились приехавшие из Москвы отец и сын Гнедичи, Николай Павлович вдруг сказал:

– Тебе выпала большая честь быть отмеченным таким великим человеком, как граф Петр Корнилиевич Сухтелен. Ты должен оправдать надежды.

– Какие надежды, батюшка? – удивился Павел.

– Петр Корнилиевич заметил твою любовь к знаниям и к книгам, твою способность к наукам и непринужденность в беседе. Он полагает, что такой юноша, как ты, сможет сделать на дипломатическом поприще карьеру не менее, а возможно, и более блистательную, чем карьера самого графа Сухтелена, – торжественно заявил князь Гнедич. – Трудись на ниве постижения наук, сын мой, трудись старательно и самоотверженно, через несколько лет я представлю тебя в Министерство иностранных дел.

– Но как же, батюшка? Я думал, стану офицером... – растерянно отозвался мальчик. – Как Григорий. Вы говорили, я в один с ним полк записан.

– Григорию другого пути служить царю и Отечеству нет, – резко оборвал его отец. – Только на военной ниве ему и быть. Он к гражданской службе не способен: не усидчив, не старателен. Ты – другое дело. Ты прославишь всю нашу семью и имя Гнедичей, запомни это. Завтра же снесусь со знающими людьми, найдем для тебя другого гувернера, этот только в языках хорош, да в других науках смыслит мало.

– А какие еще науки мне нужны?

– История, география, математика, астрономия. Без математики ты в фортификации ничего не разберешь. А без астрономии с картографией не справишься.

– Да зачем же мне фортификация? – недоумевал Павел, которому вовсе не нравилась перспектива заниматься с другим гувернером, да еще и математикой. История и география – другое дело, ему и самому это интересно, а вот математика... Новый гувернер, наверное, не станет, как нынешний, разрешать Павлу так много читать, к тому же по собственному выбору мальчика. В доме Гнедичей библиотека невелика, но гувернер Павла всегда приносит откуда-то интересные книги для своего подопечного: то описания путешествий в разные далекие страны, то историю военных походов, то мрачный роман на немецком, то переведенную на французский книгу английского автора...

– Затем, что, если ты хочешь сделаться не хуже графа Сухтелена, ты должен быть готов к участию в военных действиях и командованию военными

операциями.

Мальчик понурился и замолчал. Вот уже отец сказал: «если ты хочешь», будто бы сам Павел выразил желание стать похожим на старого графа. А разве он этого хочет? Не хочет он. К тому, чтобы стать офицером, Павел был давно готов, никакого иного пути, как и большинство дворянских детей, он не представлял. Не сказать, чтобы служба в полку была для него желанна, но она принималась его душой как некая неизбежность, с которой он смирился. По крайней мере, у него впереди было еще несколько лет до поступления в полк, и эти годы можно было безраздельно посвятить чтению. Но судьба чиновника в Министерстве иностранных дел – это совсем иное...

\* \* \*

Вечером, в одиннадцатом часу, отужинав, мужчины, как обычно, направились в кабинет Владимира Раевского, привезшего в Вершинское из Москвы свою коллекцию трубок и табака. Хрустальный штоф искрился под пляшущими огоньками свечей, комната вскоре наполнилась ароматным дымом, однако Павел с удивлением ощущал, что привычное чувство покоя и расслабленности, всегда охватывавшее его в такие минуты, сегодня не приходило. Бросив взгляд на мужа сестры, он вдруг понял: причина в Раевском. Владимир напряжен и как будто бы даже смущен...

– Вас что-то тревожит? – спросил Гнедич участливо.

– Только перспектива утратить ваше доброе расположение, – со вздохом ответил Раевский. – Но коль вы сами спросили – скажу без обиняков: Варенька поведала мне о вашем желании оставить службу и поступить в университет.

– Я... – начал было Павел, но граф остановил его движением руки.

Живя в имении и увлеченно занимаясь хозяйственными делами, Раевский обычно был одет просто и удобно, однако теперь на нем, согласно городской моде, красовался отлично сшитый двубортный фрак из синего сукна, в котором Владимир выглядел не только стройнее, но и выше ростом. Благодаря этому нарядному фракку решимость, появившаяся на лице Варенькиного мужа, придавала всему облику некоторую торжественность.

– Позвольте мне докончить, князь. Вы отдали мне имение, и сегодня я отчетливо вижу, как смогу распорядиться хозяйством, переустроить его и сделать прибыльным. Никогда более и нигде я не повторю этого вслух, говорю только вам, ибо вы сами знаете – в свете неприлично рассуждать о доходах и прибылях, если ты дворянин. Я нанял нового управляющего, голландца, весьма сведущего в агрономии и скотоводстве и получившего хорошее образование в Германии, и у нас уже составлен интересный план хозяйствования, который ранее я успешно опробовал на двух своих имениях, полученных в наследство. Вершинское в скором времени, через три-четыре года, станет приносить очень хороший доход, в этом нет никаких сомнений. Уверен, что, если бы вы по-прежнему владели Вершинским, вы сумели бы извлечь доход ничуть не меньший. Но вы остались с огромным московским домом, требующим постоянных затрат, и со службой, приносящей такое жалованье, на которое невозможно прожить, даже голодая. У вас есть определенные средства, полученные после кончины ваших родителей, но они достаточно скромны. Учиться же в университете вы сможете только на правах своекоштного студента, не так ли?

– Это правда, – усмехнулся Гнедич. – Казенное место мне никак не положено.

– Поэтому я прошу вас... нет, – перебил сам себя Раевский, – я настаиваю, чтобы вы разделили со мной будущие доходы от Вершинского. Это позволит вам получить столь желаемое вами образование и вести достойный образ жизни. Я настаиваю, – твердо повторил он. – И отказ ваш расценю как знак того, что утратил ваше расположение.

Гнедич с трудом справился с нахлынувшим волнением и набежавшими на глаза слезами. Разумеется, как дворянин, князь, он должен отказаться. Но он грешник, великий грешник, не имеющий права ни на личное счастье, ни на то, чтобы считаться человеком, обладающим честью и достоинством. То, что он сделал, не позволяет ему, Павлу Гнедичу, жить с высоко поднятой головой – так какая разница, примет он деньги от мужа Вареньки или нет? Честь его от этого не пострадает, ибо чести этой у него все равно уже нет.

Он сглотнул стоящий в горле ком и проговорил негромко:

– Друг мой, мое расположение к вам умрет только вместе со мной. Равно как и моя благодарность вам.

– Значит, вы согласны?! – обрадованно воскликнул Раевский с видимым облегчением.

– Я не нахожу в себе должного мужества, чтобы отказаться от столь заманчивого предложения, – улыбнулся князь. – Более того, если глядеть на будущее, то я надеюсь стать воспреемником ваших детей, которые после моей смерти получат все мое имущество. Обещаю жить скромно, не тратить лишнего и бережно сохранять все средства, которые вы мне выделите, чтобы наследство мои будущие крестники получили весомое.

Владимир нахмурился и с тревогой посмотрел на него.

– Почему вы так уверены, что не захотите вступить в брак, в котором у вас родятся дети? – спросил он. – Не станете же вы лишать их наследства ради племянников...

– Будет так, как я сказал, – мягко и негромко ответил Павел. – И прошу вас, друг мой, больше этот вопрос не обсуждать ни со мной, ни с моей сестрой. Дело решенное.

Раевский и Гнедич провели приятный вечер за трубками, вишневой наливкой и спокойной беседой. Но сердце Павла ныло привычной болью, не отпускаявшей его с того самого дня, когда он решительно объяснился со своей невестой.

\* \* \*

...Это был один из многочисленных балов в последнюю Масленичную неделю перед Великим постом. Светские мероприятия, на которые званы были и Гнедичи, и Шуваловы, шли ежедневно одно за другим, а Павел, встречаясь на них с Лизой, все не мог набраться душевных сил, чтобы сказать ей то, что собирался. И вот в последний день Масленицы, накануне Поста, он осознал, что тянуть далее невозможно. После вальса он пригласил Лизу прогуляться в оранжерею. Девушка тревожно смотрела на жениха, усадившего ее на козетку и нервно прохаживавшегося взад-вперед.

– Что-то случилось, Поль? – наконец прервала она молчание. – Вы в последнее время грустны и будто чем-то озабочены. Я понимаю, вы в короткий срок

потеряли сначала батюшку, затем брата, затем матушку, это тяжелые удары, и я не жду, что вы будете веселы, как прежде, но...

– Елизавета Васильевна, – решительно прервал ее Павел, – я должен сказать вам... Впрочем, нет, не с того я начал.

Он снова помолчал, мысли метались в голове, слова наталкивались друг на друга, не желая становиться в стройный четкий ряд.

– Я хочу просить вас о двух вещах, – наконец проговорил он.

Лиза Шувалова ободряюще улыбнулась ему.

– Какова же первая?

– Я прошу, чтобы вы верили мне. Я не люблю никого, кроме вас, и не люблю уж никогда никого другого до самой могилы.

Напряженный и настороженный взгляд девушки смягчился.

– А вторая? – спросила она почти весело.

«Она не ждет от меня этого удара, – с отчаянием подумал Павел. – Какой же я подлец! Но выбора у меня нет».

– Я прошу вас расторгнуть нашу помолвку.

Лицо Лизы резко побледнело и даже посерело, в какое-то мгновение Павлу почудилось, что она сейчас лишится чувств, но юная графиня справилась с собой, лишь глубоко вздохнула, крепко стиснула обеими руками веер и сжала губы.

– Я видела, что вы переменились ко мне, – медленно и негромко проговорила она. – Я давно это видела. Что с вами, Поль? Вы любите другую?

– Да нет же! – горячо возразил Гнедич.

Он опустился на колени перед Лизой и накрыл ее руки своими.

– Я люблю вас и только вас! Прошу вас верить мне! Но есть обстоятельства, не позволяющие мне связать свою жизнь... Нет, снова не то, не так...

Он вскочил, сделал еще несколько нервных шагов, потом повернулся к Лизе.

– Вы, Лиза, именно вы не можете и не должны связывать свою жизнь с моей. Я конченный человек, я грешник, я поступил непозволительно, и Господь никогда не простит мне моей вины. Он обрушит наказание не только на меня, но и на вас, и на наших детей. Поверьте мне, грех мой велик и непростителен. Да, я раскаиваюсь, и раскаяние мое искренно и глубоко, но вреда, нанесенного моим проступком, оно никак не исправит. А это означает, что наказание неизбежно. И я просто не имею права подвергать этой опасности вас и наших будущих детей. Я не смогу с чистым сердцем стоять рука об руку с вами перед алтарем. Я не имею права становиться отцом и воспитывать потомство. Поэтому я прошу вас расторгнуть нашу помолвку. Откажите мне. Пусть все думают, что это именно ваше решение, а не мое. Тогда это не помешает вам стать невестой, а потом и женой человека более достойного, нежели я.

Девушка сидела, не поднимая глаз от расписанного незабудками веера, стиснутого в лежащих на коленях руках. Такие же незабудки, только матерчатые, сделанные искусными мастерицами-цветочницами, украшали прическу Лизы. Павел смотрел на свою невесту и ждал ответа. Все внутри его словно замерло в каком-то вязком отупении.

– Что ж, – наконец произнесла она, по-прежнему не поднимая глаз, – вам, Павел Николаевич, мои обстоятельства известны. Вы знаете, что ко мне сватался барон фон Гольбах, вдовец с двумя детьми, который казался и до сих пор кажется моим родителям партией весьма привлекательной. Его состояние велико настолько, что примиряет их с утратой мною права именоваться графиней. Мы оба с вами знаем, что чувства вступающих в брак никого в свете не интересуют. Мои родители согласились отдать вам мою руку, потому что вы – князь и ваш титул выше моего. Если я не выйду за вас, меня немедля отдадут за фон Гольбаха. Либо титул, либо деньги. Любовь никем в расчет не принимается. Я со смирением приму ваше решение, князь, и не стану ни в чем вас разубеждать. Но в ответ у меня тоже будут к вам две просьбы.

– Все, что захотите! – с готовностью откликнулся Гнедич, еще не понимая, радоваться ему или приходить в еще большее отчаяние.

– Первая просьба: назовите сами причину, по которой я должна буду официально расторгнуть нашу помолвку. Я не приучена ко лжи, и у меня плохо получится... придумывать ее.

К этому вопросу он был готов.

– Что ж, если вы не против, скажите, что мои средства расстроены. Это не столь уж далеко от истины, поскольку имение Вершинское я отдал сестре в приданое.

– Хорошо. – Лиза согласно кивнула и внезапно резко подняла голову и посмотрела Павлу прямо в глаза. – И вторая просьба. Нет, князь, это не просьба, это условие: вы немедленно расскажете мне, в чем ваша вина и ваш грех, не позволяющие вам вступить со мной в брак и иметь от этого брака детей. Обещаю вам, что сохраню вашу тайну, какой бы она ни была.

– Это невозможно!

– Тогда вам придется самому расторгнуть нашу помолвку, – твердо ответила Лиза Шувалова. – И испытать на себе все негодование светского общества.

– Но я не могу на это пойти, Елизавета Васильевна! Это же нанесет непоправимый урон вашей репутации! Какую причину я могу привести в оправдание отказа от женитьбы на вас, чтобы не повредить вам же самой? Моя репутация меня ни в малой степени не волнует, но ваша...

– Тогда, если вам столь дорога моя репутация и мое доброе имя, выполните мое условие. Я готова принести требуемую вами жертву, но я должна понимать, во имя чего я ее приношу.

Гнедич собрался было снова возразить, но от двери, соединяющей оранжерею с бальной залой, послышался голос графини Шуваловой:

– Лиза! Павел Николаевич! Вот вы где! Идите танцевать немедленно, до полуночи осталось не больше двух танцев.

Ровно в полночь музыка затихала и бал прекращался, даже если очередной танец был в разгаре: наступало священное время Великого поста, в течение которого не допускались никакие развлечения и увеселения.

– Сейчас идем, маман! – громко отозвалась Лиза.

– Итак, Павел Николаевич, у нас совсем мало времени, – обратилась она к Гнедичу тихо, но решительно. – Или вы рассказываете мне всю правду, или урон моей репутации останется на вашей совести. Я еще раз подтверждаю свое обещание никому не передавать того, что услышу от вас.

«Она имеет право знать, – пронеслось в голове у Павла. – Я требую от нее невозможного: отказаться от брака со мной, расторгнуть помолвку, идя единственно на поводу у моей просьбы и не зная, что за этой просьбой таится. Мы не успели обвенчаться вскоре после помолвки, потому что в то время уже был назначен отъезд Лизы с матерью за границу для лечения графини. Но мы дали друг другу слово. И вот Лиза вернулась, она ждет, а все молчу... Теперь уж тянуть далее невозможно: виданое ли дело, чтобы помолвка состоялась, а венчания все не назначают. Я поставил Лизаньку в унижительное положение. И теперь отказываюсь объяснять, чем вызвана такая моя просьба. Господи, какой же я подлец!»

Говорить было трудно, но он успел в самой сжатой форме поведать Лизе то, что тяжким гнетом лежало на его душе. Успел до того, как распорядитель объявил очередной танец, которому суждено было, по-видимому, оказаться последним на этом балу.

Услышав звуки вступления, Лиза поднялась и протянула Гнедичу пухлую ручку, затянутую в нежно-голубую, в цвет атласного бального платья, перчатку.

– Я буду молиться за вас, Павел Николаевич. Буду молиться каждый день Поста, до самой Пасхи. Я сделаю, как вы просите. А теперь пойдете. У нас есть право на танец, пока я не объявила о расторжении помолвки.

В ее глазах заблестели слезы. Павел схватил ее руку, прижал к губам и прошептал:

– Простите меня. Простите, если можете. Я всегда буду любить вас.

Он до той поры и не подозревал, сколько силы и мужества в этой очаровательной и умной девушке, которую он так мечтал назвать своей женой...

## Глава 2

1866 год, декабрь

Павел Николаевич Гнедич, профессор Московского университета, украдкой кинул взгляд на карточку обеда, где на лицевой стороне перечислены были подаваемые блюда, а на оборотной – порядок речей и тостов: осталась всего одна речь и после нее тост, нужно вытерпеть эту обязательную скуку в честь юбиляра, и можно будет свободно ходить меж гостями, подбирая себе наиболее приятных и знающих собеседников. Впрочем, ему грех жаловаться: устроители обеда, знающие о давнем знакомстве Гнедича с юбиляром, председателем Московского столичного мирового съезда, постарались усадить профессора так, чтобы он не скучал. Князь Гнедич – знатный холостяк, посему справа и слева от него были посажены супружеские пары, имевшие дочерей на выданье, – статские советники с женами. Увы, правила этикета требовали, чтобы рядом с кавалером сидели дамы, посему поддерживать беседу с мужчинами было не так легко, и Павел Николаевич, мило болтая с соседками по столу, с трудом сдерживал нетерпение, ожидая окончания речей и тостов. Утка под рыжиками, поданная в третьей перемене блюд, оказалась не вполне удачной, и Гнедич оставил свою порцию почти нетронутой, зато куропатки в четвертой перемене порадовали сочностью мяса и нежностью соуса.

– Не могу решить, у кого лучше шить обувь: у Пироне или у Цармана, – сетовала нарядно одетая супруга чиновника, сидевшая справа от Гнедича. – С одной стороны, у Пироне мастерская на Тверской, от нашего дома так близко, что можно и коляску не закладывать, а к Царману на Кузнецкий идти дальше. Но я, знаете, как-то больше доверяю семейному ремеслу, когда мастерство от отца к сыну передается и вся семья коммерцией занята, как у Царманов. С другой стороны, однако же, Пироне шьет быстрее, хотя и дороже. А вы, господин профессор, у кого обувь шьете?

– У Брюно, – ответил Гнедич. – На Кузнецком.

Дама отчего-то обрадовалась этим словам и оживленно подхватила:

– Я знала, знала, сердцем чувствовала, что надо все-таки обуваться на Кузнецком! И пусть, что медленнее шьют, зато носиться будет долго. Вы согласны, князь?

– Разумеется, согласен. – Павел Николаевич всем своим видом выражал одобрение и восхищение столь разумными рассуждениями. Хотя и не видел такой уж большой разницы между башмачниками наследственными и мастерами первого поколения, ибо в каждом случае бывали и безрукие уродцы, и великие самородки. А уж аргумент о расстоянии от Тверской улицы до Кузнецкого моста казался ему и вовсе смехотворным.

Соседка же слева, тощая дама с удивительно моложавым приятным лицом, следовала невесть откуда взявшемуся, однако укрепившемуся в умах убеждению, что в светской беседе следует непременно говорить с человеком о его профессии, словно никаких других интересов у него быть не может. Центром ее вопросов и замечаний стало громкое дело почетной гражданки Марии Мазуриной, разбиравшееся в мировом суде три месяца тому назад, в сентябре 1866 года. С юридической стороны дело, безусловно, было любопытным, и Павел Николаевич с огромным удовольствием подискутировал бы о правовых тонкостях со знающим человеком и порассуждал бы, в какой мере издаваемые на местах циркуляры могут расширять законные установления вышестоящих инстанций. Однако даму слева интересовала лишь фактическая сторона вопроса: как полиция посмела вламываться в частный дом и разбивать при этом окно и имела ли хозяйка дома, госпожа Мазурина, спускать во дворе собак, дабы воспрепятствовать приходу полиции. Вести обсуждение на подобном уровне Гнедичу было откровенно скучно, но правила хорошего тона никто пока не отменял...

Он окинул глазами присутствующих в поисках тех, с кем непременно хотел бы пообщаться. Журналисты и литераторы, освещающие в прессе судебные вопросы, председатели съездов мировых судей, прокурорские... Взгляд его остановился на знакомом лице с резкими глубокими носогубными складками и аккуратной бородкой: Владимир Данилович Спасович, петербургский адвокат. Неужели приехал специально на торжество? Или оказался в Москве по случаю, выступая в судебном процессе? Спасович моложе Павла Николаевича лет на 8–10, а уже написал замечательный учебник по уголовному праву. Правда, говорят, и пострадал из-за него: император усмотрел в учебнике некое

«противублагочиние» и запретил Спасовичу занимать кафедру в Казанском университете. Да, многим студентам и профессорам сломали карьеру студенческие волнения 1861 года, из-за которых позакрывали университеты. Спасович вынужден был перейти в Императорское училище правоведения, затем, после неудачи в Казанском университете, вступил в адвокатуру. Сам же Павел Гнедич, в связи с закрытием Московского университета, других должностей не искал, а занялся докторской диссертацией, которую как раз успел закончить к тому моменту, когда занятия возобновились, что и позволило ему после успешной защиты получить должность ординарного профессора. Однако, несмотря на собственное благополучие, Павел Николаевич порой с грустью вспоминал студентов, успешно сдавших вступительные экзамены в приснопамятном 1861 году и через несколько месяцев отчисленных. Лишь немногие из них повторили попытку через год, когда университет снова открылся. Как знать, сколько талантливых юристов потеряла Россия в тот год...

Ну, вот и конец, отзвучал последний тост, сверкнули в огоньках ламп наполненные бокалы. Едва начали подниматься из-за стола – и уж гости сгруппировались в многочисленные кружки. Гнедич неторопливо шел по зале, высматривая Спасовича, с которым хотел непременно обсудить ход слушания одного громкого дела, и одновременно примечая, где и с кем стоят те самые статские советники – отцы невест, чтобы, упаси Господь, не попасться в руки им или их милейшим супругам. Ведь как дело будет – уже сейчас известно: легкий приватный разговор даст повод нанести визит, а в ближайшее время – Рождество и Новый год, значит, поздравительные визиты неизбежны. Они нанесут визит князю Гнедичу, и не отдать визит станет неприличным, а там и дочь на выданье, девицу представят, придется быть вежливым и разговаривать с ней. Нет, князь, конечно, к светской жизни приучен сызмальства и беседу с любым человеком поддержит легко, но... Скучно ему это.

– Павел Николаевич! – окликнул его знакомый голос.

Гнедич остановился, обернулся: к нему спешил товарищ прокурора Московской судебной палаты Верстов, известный своими славянофильскими убеждениями.

– Князь, разрешите наш спор, – с улыбкой попросил Верстов, – а то как бы мы не передрались. Никак не можем прийти к единому мнению по вопросам подсудности незаконных действий полиции мировому суду. Не откажите в любезности высказать просвещенное мнение чистого теоретика уголовного права.

– С удовольствием! – с готовностью отозвался Гнедич.

Вопрос был действительно животрепещущим и требовавшим строгого юридического разрешения. В дореформенной России любые действия полиции априори считались обывателями правильными и законными, даже если таковыми и не всегда являлись. Теперь же, после реформы, граждане стали вдруг помнить о том, что полиция имеет право далеко не на любые действия, и подавать на городских, квартальных надзирателей и частных приставов судебные иски превратилось даже не в моду, а просто-таки в поветрие. С точки зрения общечеловеческой, это было, разумеется, очень хорошо. Но за этим следовали бесконечные тяжбы и волокита, связанные с тем, что никак не могли твердо и четко разрешить вопросы о подсудности таких дел. На сей раз предметом самого живого обсуждения гостями стало рассмотренное месяц назад мировым судом дело по обвинению надзирателя 6-го квартала Хамовнической части Ильинского в оскорблении и причинении насилия мещанину Пастухову, корреспонденту «Русских ведомостей». Главным камнем «юридического» преткновения оказался вопрос о том, в качестве кого в момент конфликта выступал квартальный надзиратель: в качестве полицейского или в качестве частного лица. В первом случае обвинение в его адрес должно рассматриваться окружным судом, во втором – мировым. Фактически же конфликт имел место через несколько минут после окончания служебного времени, когда надзиратель только-только вошел в свою квартиру, расположенную рядом с конторой участка, в этом же доме, но мундир снять еще не успел, хотя две-три пуговицы уже расстегнул. Само время и место конфликта, а также вполне «домашний» вид полицейского давали защитнику корреспондента основания полагать, что Ильинский в данный момент не находился на службе, товарищ же прокурора на суде утверждал, что сам повод для обращения Пастухова к квартальному надзирателю свидетельствует о том, что Ильинский в данной ситуации рассматривался именно как лицо, состоящее при должности, и, следовательно, мировому суду данное дело неподсудно, а уже вынесенное мировым судьей решение должно быть отменено.

– Этот Пастухов – та еще птица! – горячо говорил, размахивая руками, Верстов. – Знаю я эту породу правдоискателей! Это ведь не первое дело, которое он возбуждает. И будет таких дел еще немало, он ни один служебный промах полиции не упустит. Отвратительная личность! А как преступления открывать, ежели руки связаны? Как покой граждан оберегать, если уж совсем ничего нельзя?

– Согласен, Пастухов – человечешко препротивный, – отозвался другой участник беседы, о котором Гнедич понял только, что он из литераторов и фамилия его – Фукс. – Но и полиция у нас небезупречна. Неужто им все с рук спускать?

Спор так увлек Гнедича, что он на какое-то время даже забыл о своем намерении непременно побеседовать с Владимиром Даниловичем Спасовичем. И когда литератор внезапно сменил тему, Павел Николаевич с удовольствием погрузился в обсуждение нового вопроса.

– Господа, вы читали недавнюю статью господина Каткова? – спросил литератор, задорно сверкнув стеклами пенсне.

– О, – оживленно откликнулся князь, – господин Катков у нас известный защитник идеи суда присяжных! Какие аргументы он подобрал нынче? Что-то новенькое? Или все то же?

Литератор махнул рукой, выражая некое чувство между скукой и безнадежностью.

– Ах, все то же. Суд присяжных – лучшая гарантия личной свободы; суд, отправляемый публично и при участии присяжных, будет живой общественной силой, а идея законности и права станет могучим деятелем народной жизни. Ну и снова про положительное влияние, дескать, суд присяжных возвысит и облагородит общественную среду, и сей возвышенный и благородный характер мало-помалу сообщится всем проявлениям народной жизни. Одним словом, господин Катков считает введение суда присяжных великим преобразованием!

Тонкое подвижное лицо товарища прокурора выразило неподдельное возмущение.

– В ваших словах, господин Фукс, слышится, однако, скепсис. Высказывания господина Каткова вызывают у вас недоверие? Не изволите ли разъяснить, почему?

Фукс незамедлительно и с видимым удовольствием пустился в рассуждения, и Павел Николаевич понял, что литератор оседлал любимого конька.

– Я полагаю, что о живой общественной силе и влиянии на народную жизнь мы были бы вправе рассуждать, если б могли быть полностью уверены в справедливости вердиктов, выносимых присяжными.

– Как я понимаю, господин Катков в справедливости полностью уверен, – заметил Гнедич.

– А я полностью разделяю мнение «Московских ведомостей» и их главного редактора господина Каткова, – заявил Верстов. – Народная мудрость есть величайшая сила. Присяжные в своей совокупности и при честном обсуждении вопроса никогда не могут ошибиться.

Литератор Фукс при этих словах скроил весьма выразительную мину, словно хотел сказать: «Вы что, всерьез так думаете? Не могу поверить!»

– Да помилуйте! В списки присяжных попадают все подряд, без различия происхождения, чинов и образованности, единственные цензы – имущественный, возрастной и некоторые виды занятий. Но сословного ценза нет. А кто на самом деле приходит на заседания? Одни крестьяне и работники! Стоит попасть в список присяжных какому-нибудь мало-мальски образованному человеку, так он уж справочку от доктора несет, дескать, болеет тяжело и исполнять долг присяжного никак не может, а сам просиживает ночи в театрах или за картами в клубах. Ежели чиновник – может еще документ о командировке принести, чтобы штраф за неявку не платить. Недостающих назначают из запасных, и снова та же история: крестьяне и работники являются к заседанию, остальные манкируют. Вот и получается, что преступления, совершенные человеком образованным и живущим в городе, судят те, кто не имеет ни образования, ни опыта городской жизни, а стало быть, не может уразуметь ни чувствований подсудимого, ни хода его мысли, ни истинных причин, толкнувших его на преступление, ни городских нравов и обычаев. Я уже не говорю о той ненависти, которую испокон века испытывают крестьяне к представителям высших сословий. Пока существовало крепостное право, крестьяне вынуждены были любить своих хозяев – но только искренне ли? Вот в этом у меня большие сомнения, господа! Из-под кнута и палки они кого хочешь любить будут, а как крепостное право отменили и дали им свободу, вот тут их истинное отношение к высшему сословию и обнаружилось. Да они даже просто из мести могут вынести обвинительный вердикт, хотя, по справедливости, подсудимого следовало бы оправдать. Возьмите хоть дело Суворина! Мыслимо ли это: за книгу очерков, где выведен герой-нигилист, признать писателя виновным в пропаганде

социалистических и материалистических теорий! А ведь признали, и три месяца тюрьмы присудили! Вот вам и справедливость. Нет, господа, как хотите, а до тех пор, пока не наступит нравственное обновление всего народа, о справедливости суда присяжных и мечтать нечего!

– Позволю себе добавить, – вмешался Гнедич, – Суворина осудили за книгу очерков, которая не была издана и которую никто не читал, кроме цензоров. Ну, тут уж господину Суворину просто не повезло, его рукопись попала в цензуру четвертого апреля, в тот самый день, когда Каракозов стрелял в Императора. Понятно, что умонастроения в те дни были совершенно определенными. И несправедливость сия была исправлена спустя некоторое время: судебная палата при повторном рассмотрении дела заменила три месяца тюрьмы тремя неделями.

– Вот видите! – обрадовался Верстов, усмотрев в словах Гнедича поддержку своей позиции. – Не зря я пригласил господина профессора присоединиться к нашему обсуждению, ведь всем известна его рассудительность и объективный взгляд на предмет. А я приведу вам другой пример, дело Пыпина и Жуковского. За статью «Вопрос молодого поколения», напечатанную в «Современнике», их предали суду по обвинению в оскорблении чести и достоинства всего дворянского сословия. И защитником у них, к слову, был все тот же господин Арсеньев, который и Суворина защищал на суде. Повод тот же, защитник тот же, обвинение схожее, а результат прямо противоположный – оправдательный вердикт! Так что народная мудрость все же торжествует! И позицию господина Каткова я поддерживаю полностью!

– Однако, господин Верстов, не видится ли вам в этом некая неразумность? – возразил Павел Николаевич. – Повод тот же, обвинение схожее, даже защитник тот же, а результат прямо противоположный. Не говорит ли это о случайности и необоснованности вердиктов? Не говорит ли это о том, что не существует строгого и понятного механизма, который с уверенностью приводил бы присяжных к истинно справедливому решению?

Верстов, кажется, растерялся, поняв, что напрасно рассчитывал на полную поддержку профессора, а литератор Фукс одарил присутствующих торжествующей улыбкой.

– С радостью поддержу вас, господин Гнедич, – сказал он, – суд присяжных не должен быть крестьянским или, как любят выражаться, народным. Суд должен

быть представлен в равной мере всеми слоями общества, по преимуществу – людьми образованными, думающими. Нашим законодателям следует создать такой порядок отбора в присяжные, при котором в зале заседаний будут присутствовать и дворяне, и мещане, и купцы, и заводчики, и люди свободных профессий – художники, писатели, артисты. А уж то, что их невозможно заставить присутствовать на заседаниях и исполнять свой гражданский долг, – это и вовсе не аргумент. Этот вопрос должен быть решен на государственном уровне. До тех же пор, пока он не решен и пока общество наше не возродилось нравственно, я буду отдавать свой голос против суда присяжных.

– Увы, господин Фукс, – улыбнулся Гнедич, – мы не можем протестовать против уже принятого закона, ибо он принят и вступил в действие, и наша обязанность – считаться с этим, каким бы несовершенным данный закон нам ни казался. Я готов согласиться с тем, что оправдание Пыпина и Жуковского было более чем справедливым, но посмотрите, к какому результату это привело! Наш министр внутренних дел господин Валуев воспринял оправдательный вердикт крайне негативно и сделал в своем раздражении все возможное, чтобы провести некоторые законодательные новеллы. Итог – теперь все дела о печати больше не будут рассматриваться судом присяжных. Отныне подобные дела будут рассматриваться сразу Судебной палатой как первой инстанцией. И вероятность справедливого приговора становится еще меньше, чем была доселе.

Фукс недовольно нахмурился.

– Так каково же ваше мнение, князь, в конечном итоге? Вы поддерживаете то меня, то господина товарища прокурора и возражаете по очереди каждому из нас, а ваша позиция нам так и осталась неизвестной. Соблаговолите прояснить ее, сделайте любезность.

– Моя позиция, – со вздохом ответил Гнедич, – состоит в том, что нет ничего однозначно дурного и однозначно положительного. Все, что нас окружает, многогранно и многообразно. Засим, господа, позволю себе вас покинуть.

«Я был трусом и остался трусом, – с внезапно накатившей тоской думал Павел Николаевич, пробираясь в противоположный конец залы, где увидел Спасовича. – Стоило мне заметить на обеде Владимира Даниловича, как меня одолели мысли о том, что единожды произнесенное неверное слово может стоить мне карьеры. Владимир Данилович не побоялся издать учебник, который Император впоследствии запретил, а я боюсь высказать свое мнение в разговоре

с теми, кто не составляет мой близкий круг. Отчего я так слаб?»

Со Спасовичем, чье умело сшитое платье ловко скрывало тяжелое, рыхлое, нескладное тело с заметно выступающим вперед животом, они направились в курительную комнату в надежде побеседовать в тишине, однако у самого выхода из залы их перехватил все тот же вездесущий Верстов, рядом с которым Гнедич увидел молодого человека, показавшегося ему знакомым. Где же он встречал этого господина? Откуда знает?

– Господа, – обратился к ним товарищ прокурора, – господин профессор Спасович, господин профессор князь Гнедич, позвольте представить вам молодого сотрудника окружного суда князя Урусова. Александр Иванович этим годом успешно вышел из Московского университета и принят кандидатом на судебные должности, показал себя столь примерно, что ему, несмотря на кандидатство и малый опыт, доверено осуществлять защиту по весьма серьезному делу. От души рекомендую!

Князь Урусов! Ну конечно! Павел Николаевич вспомнил, откуда знает его. Молодой князь был как раз одним из тех немногих студентов, которые, поступив в Московский университет и будучи отчисленными в связи с закрытием из-за беспорядков, предприняли на следующий год новую попытку и вновь сдавали экзамены. Именно к этим студентам у профессора Гнедича всегда было особое внимание: он считал, что если молодой человек проявляет такое упорство в получении определенного образования, то из него непременно выйдет толк. Урусов блестяще учился и прекрасно выдержал выпускные экзамены.

– Рад, душевно рад! – Гнедич с чувством пожал руку молодого юриста. – Хорошо помню вас студентом и высоко ценю ваши успехи и прилежание в учебе.

Юноша весело улыбнулся, не скрывая удовольствия. Глядя на его лицо, Гнедич отчетливо вспомнил, как любовался на занятия студентом Урусовым, который, казалось, получал наслаждение от каждой прожитой минуты, отвечал с неизменной улыбкой, и в голосе его всегда звучала какая-то непонятная, но явственная радость. Даже уголки губ его были постоянно изогнуты вверх, словно он улыбался своим мыслям.

– Благодарю вас, господин профессор! Позвольте и мне выразить свое восхищение тем, как вы читали нам курс уголовного права. Если мною в

окружном суде довольны, то исключительно благодаря той науке, которую вы столь мастерски и терпеливо вкладывали в наши бестолковые головы.

Верстов меж тем ретировался, посчитав, вероятно, свою функцию выполненной, а Урусов вместе с профессорами вышел в бильярдную, которую во время приемов назначали в качестве «курительной».

– Так вам поручено серьезное дело? – вежливо осведомился Спасович, которого молодой юрист, судя по всему, нимало не занимал, однако просто прекратить разговор и перестать обращать внимание на собеседника было бы невежливым.

– Да, – кивнул Урусов, – по назначению, ведь мой кандидатский стаж еще совсем короток. Но так как подсудимая не имеет средств для приглашения защиты, то меня и назначили.

– Что же, подсудимая из неимущих? – поинтересовался Павел Николаевич.

– Крестьянка. Дело назначено к слушанию в феврале, времени впереди много, но у меня нет даже сколько-нибудь примерного представления о линии защиты, – признался Урусов. – Если позволите, я бы обрисовал вам факты...

«Так вот в чем дело, – мысленно усмехнулся Гнедич. – Ему нужен совет. Что ж, похвально. Надеюсь, Владимир Данилович не откажется проконсультировать молодого коллегу. Возможно, и я что-то подскажу».

Муж и жена Волоховы, Алексей и Мавра, жили тяжело, бедно. А муж еще и пил, постоянно и помногу. Мавра ругала его, называла каторжником и жуликом, но терпела. Соседи Мавру не любили, считали ее злой и даже жестокой и во время следствия показывали, что женщина только и ждала любой возможности, чтобы избавиться от мужа. Более того, она и верна ему не была, все время с кем-то изменяла, и пьющий нелюбимый муж являлся для Мавры только обузой, а никак не подспорьем в тяжелой крестьянской жизни.

Четыре месяца тому назад труп Алексея Волохова, разрубленный пополам, был найден в погребе их дома. На теле обнаружено множество ран, нанесенных разными орудиями. Подозрение сразу пало на жену, и во всем протяжении следствия никаких других подозреваемых не появилось. Мавра, однако, все отрицала и в совершении убийства мужа не сознавалась.

– Если вы уверены в невиновности подзащитной, то я бы посоветовал вам глубоко вникнуть в ее мысли, в ее характер, чувства и доказать присяжным, что Мавра Волохова не только не хотела убивать мужа, но и вообще не способна на тяжкое насилие, – произнес Спасович, выслушав изложенные Урусовым обстоятельства дела.

– А если не уверен? – спросил Александр Иванович. – Может ли случиться так, что я влезу в глубины ее души, а там одна дьявольская чернота? Что мне с этим делать? Лгать перед присяжными? Ведь может же случиться, что я обнаружу и способность к насилию вообще, и страстное стремление избавиться от пьяницы-мужа в частности?

– Может, – с улыбкой согласился Павел Николаевич. – Тогда ваш путь – опровергать доказательства, представленные стороной обвинения. У вас как у защитника только два пути: или доказывать, что подзащитный не причастен к преступлению, или ставить под сомнение доказательства виновности. Или «не совершал», или «не доказано», других путей не существует, если подсудимый не сознался.

Урусов лукаво улыбнулся, излучая всем своим видом задор и кураж.

– Что ж, – ответил он, – тогда придется идти вслед за обвинителем и искать аргументы против каждого его слова. Не можешь выстроить защиту – разбивай обвинение, ведь так?

Гнедич искренне симпатизировал молодому князю и желал ему удачи в судебной карьере, а вот глаза Владимира Даниловича Спасовича сделались вдруг холодными и злыми. «Сейчас последует строгая отповедь, – подумал Павел Николаевич. – Со Спасовичем так нельзя, он в деле защиты подсудимого шуток не приемлет».

– Уважаемый коллега, – начал Спасович, слегка запинаясь, как бывало всегда, когда он начинал судебную или любую другую длинную речь, – не рекомендую вам проявлять столь прискорбное легкомыслие в осуществлении защиты. Дар свободного слова предоставлен адвокату для облегчения участи подсудимого, а не для глумления над процессуальным противником. Вы так надеетесь на то, что представитель прокуратуры непременно допустит ряд логических и фактических ошибок, – а что, ежели он их не допустит? Что, ежели подготовка к

процессу окажется тщательной, а доводы обвинения – безупречными? На чем тогда вы станете строить свою защиту? А ведь может стать и так, что ошибки у обвинения будут, да вы по невнимательности их пропустите, не заметите. К примеру, голова у вас разболится или живот, начнете отвлекаться, внимание ослабеет. И вы готовы поставить дело защиты подсудимого и дальнейшую судьбу того, кто вам доверился, в зависимость от таких случайностей? Я бы взял на себя смелость предостеречь вас от этого. Вам следует помочь суду заглянуть в тайны души подсудимого, исследовать ее изгибы и самые сокрытые от внешнего взора уголки, вам следует произнести вслух в оправдание своего, пусть даже виновного, подзащитного все то, что он сам, по недостатку ли ума или по застенчивости натуры, произнести не сможет. Вам следует сделать глубокий анализ не только души и мышления подсудимого, но и среды, в которой он рос, воспитывался и жил, всех личностей, которые его окружали, и всех обстоятельств его жизни. Среда, окружение и обстоятельства суть источники искушения для любой души, и ваша задача на суде – показать механику того, как данные источники взаимодействовали с данной душой и данным умом, как искушали их и что из этого вышло. Вот так и только так вижу я одну из главных задач защиты.

По тому, как дрогнули губы Урусова, сложившись в упрямую складку, Гнедич ясно понял, что молодой юрист от своей линии не отойдет и будет действовать так, как и собирался: ловить каждое ошибочное слово прокурора, каждую неуверенность, каждое сомнение, чтобы немедля обратить в свою пользу. Точно так же студент Урусов действовал и на университетских занятиях, внимательно слушая доклады и выступления своих товарищей и, когда ему предоставляли слово, блестяще и остроумно критикуя их. Профессора любили Александра Урусова именно за то, что своей манерой, своей яркой полемичностью он заметно оживлял скучную академическую аудиторию, придавая занятиям остроту и занимательность, а потому на экзаменах не придирались к нему слишком заметно и ставили высший балл, едва только их любимец открывал рот и произносил две-три первые фразы. Это отнюдь не означало, что князь Урусов манкировал глубокой подготовкой по предметам, нет, это означало лишь то, что Александр Иванович крепко уверился в действенности избранного метода и к другим методам прибегать не намерен.

Гнедич захотел сгладить ситуацию, а заодно и прекратить разговор втроем: скоро придет пора гостям разъезжаться, а он так и не обсудил со Спасовичем то дело, которое занимало его ум.

– Я бы полагал, – миролюбиво начал он, – что вы, уважаемый Владимир Данилович, безусловно, правы, но невозможно ждать от молодого человека полного понимания всего того, что вы описали. Для этого, согласитесь, требуются и жизненный опыт, и мудрость, которые приходят лишь с годами. Подобное ведение защиты под силу вам – профессору, автору учебника, человеку, хорошо знающему жизнь и людей, но никак не юному кандидату на судебную должность. А ведь кто-то же должен защищать на суде несчастную женщину, у которой нет средств, чтобы нанять себе такого адвоката, как вы. Адвокаты по назначению всегда молоды и малоопытны, маститых юристов на такие дела не ставят. Посему, я полагаю, было бы вполне дозвоительно господину Урусову осуществлять защиту теми средствами, какие ему под силу. А уж то, что именно эти средства для него привычны и любимы, я вам достоверно подтверждаю как его бывший преподаватель. Александр Иванович еще в бытность студентом демонстрировал задатки блестящего полемиста.

Гул голосов в курительной становился все сильнее, ароматный дым от трубок и сигар – все гуще, и Павел Николаевич с досадой чувствовал нарастающую головную боль. Князь Урусов откланялся, горячо поблагодарив профессоров законовведения за полезные советы, и Гнедичу наконец удалось поговорить со Спасовичем и прояснить все беспокоившие его вопросы.

При разъезде князь предложил Владимиру Даниловичу место в своем экипаже. Тот с благодарностью согласился, взгромоздил неловкое тело на сиденье и накрылся меховой полкой.

– Славный молодой человек этот князь Урусов, – сказал он неожиданно, – в нем видны богатые задатки, но, боюсь, не удержится он. Сорвется. Кем бы он ни сделался, присяжным поверенным или частным, ему придется выступать на публике. От присутствия же публики успех делается многократно сильнее. Но и каждый промах по этой же причине может обернуться катастрофой. Подготовка адвоката к процессу – дело тайное, сокрытое, а вот результат этой подготовки – дело всегда публичное, и тут уж ничего не скроешь. Если в человеке нет тщательности и предусмотрительности, ему крайне трудно будет жить в нашей профессии. А в молодом князе я этих качеств не увидел. Увы. К слову, как поживает ваш племянник, Павел Николаевич? В Училище правоведения он был хорошим студентом, как мне помнится. По крайности, по моему предмету у графа Раевского нареканий не было. Он был мне весьма симпатичен, хотя...

– Прошу вас, продолжайте, – с тревогой в голосе попросил Гнедич.

Сейчас он услышит что-то нелицеприятное о своем племяннике Николае, старшем сыне сестры Вареньки. Николенька всегда был веселым, открытым, добрым мальчиком, импульсивным и живым, но как знать, какие еще черты характера, не замеченные пока близкими, сформировались в строгих условиях пансиона за долгие годы обучения в Училище.

– Я отметил у Николая, как бы это выразиться... – Спасович пожевал губами, будто подыскивая наиболее верные слова, – быструю утомляемость интересов, если вы понимаете, что я хочу сказать. Он легко вспыхивает, загорается, когда что-то кажется ему интересным, увлекательным, но так же скоро остывает. Вы наблюдали подобное?

– Да, – признался Гнедич, – мой племянник, к сожалению, именно таков с детства. Но я всегда льстил себя надеждой, что это не скажется на его усердии и прилежании как в учебе, так и в службе. У него развито чувство ответственности.

– Могу согласиться с этим, – кивнул Владимир Данилович. – Где он сейчас? Какое назначение получил?

– Он теперь товарищ прокурора в Калужской губернии, там же, где имение Раевских.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/aleksandra-marinina/obratnaya-sila-tom-1-1842-1919-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)